

**РУССКИЙ
ПУТЬ**
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Издается
с 2003 года

Зарегистрирован
Министерством
Российской Федерации
по делам печати,
телерадиовещания
и средств массовых
коммуникаций.
Свидетельство
о регистрации
ПИ № 77-17964
от 8 апреля 2004 г.

*Литературно-художественный,
общественно-политический
и научно-популярный
журнал современных писателей
Центральной России*

№ 3 (8)/2005

Главный редактор

Тираж бумажной версии 700 экземпляров.

Учредитель и издатель:
общество с ограниченной ответственностью
«Редакция газеты «Губернские вести».

Евгений ЧЕКАНОВ,
член Союза писателей России

**Журнал выходит в свет 4 раза в год
и поступает во все областные
и центральные районные библиотеки
9 регионов Центральной России —
Ярославской, Костромской, Ивановской,
Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской,
Смоленской и Тверской областей.**

**Редакционная
коллегия:**

Николай СМИРНОВ,
член Союза российских писателей;

Тамара ПИРОГОВА,
член Союза писателей России;

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО,
кандидат исторических наук.

**Адрес редакции: 150000, г. Ярославль,
ул. Революционная, 28, 1-й этаж.
Телефоны редакции:
(0852) 72-74-52 (гл. редактор), 25-99-60
(отдел подготовки рукописей, после 18.00).**

**Редакция не вступает в переписку
с читателями, не рецензирует
и не возвращает присланные рукописи.
При перепечатке ссылка
на «Русский путь на рубеже веков»
обязательна.**

© ООО «Редакция газеты
«Губернские вести», 2005.

Ярославль

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

Александр Некрасов



Новорусские сказки

ПРО ХРОМУЮ КУРИЦУ И ПСА-РЭКЕТИРА

Жили-были в нашей деревне мужик и баба. И ничего себе жили, даже скандалили не чаще семи раз в неделю. Но случилось у них горе: курица — а была она у них одна-единственная, да еще и хромоногая — яйцо им снесла.

Почему горе? Да потому, что яйцо -то она им снесла не простое, а золотое: ни сварить, понимаешь, ни поджарить. Удружила, хохлатка.

Понятное дело, от такого подарка в семье счастья не прибавилось. Баба — та криком кричит и матом матюгается, а мужик ейный горько задумался: что же делать -то теперича: топиться али давиться? Роняет он скупую слезу на вполне впалую грудь, прямо на медаль «За трудовые мозоли», и озвучивает на все деревенское пространство горестный текст:

— Вот он, чертов Чернобыль, чего натворил — мутации уже и до нашего Забубякина добрались! Ежели щас схавать с голодухи яйцо это проклятое, дык ведь кони двинешь в одночасье, к ворожее не ходи. Ведь радиоактивное оно, ясен перец! А ежели закопать его, подлое, на огороде — вся репа позасохнет, до весны будет не дожить. Ну, удружила, хромоногая!

Баба ором голос сорвала, в ухо ему сипит:

— Нас ить с тобою, Федот Калистратыч, налоговики со свету сживут за нетрудовые доходы. А ну, как она теперича одни токо золотые и будет выкатывать? Задавят налогами, замордуют!..

Александр Вениаминович Некрасов родился в 1956 году в Казахстане, в семье железнодорожников. В 1977 году окончил историко-филологический факультет Уральского педагогического института имени А.С. Пушкина, работал учителем русского языка и литературы. В 1984 году переехал на постоянное жительство в Ярославскую область. Работал корреспондентом районной газеты, инструктором райкома КПСС, заведующим организационным отделом Большесельского районного Совета. В 90-х годах прошлого столетия был преподавателем в сельской школе, работал в районном центре занятости населения, окончил факультет практической психологии Ярославского педагогического института имени К.Ушинского. В 2001-2004 гг. заведовал отделом молодежи в администрации Большесельского района, был заместителем главы муниципального округа по социальной политике. В 2005 году избран главой Большесельского сельского поселения.

Сочинительством увлекся в школьные годы. Сказки, стихи, рассказы публиковал в газетах и коллективных сборниках.

Живет в поселке Большое Село Ярославской области.

© Александр Некрасов, 2005.

И долго бы они еще так убивались и нервную систему свою безвозвратно губили, да трюхал на тот час аккурат мимо ихней избы на своем шестисотом мерсе дачник не дачник, помещик не помещик, а просто себе добрый молодец, косая сажень в физиогномии, скакнувший наемни из грязи в князи. Наблюдая такой гнилой базар, тормознул он у той избы, выслушал обоих страдальцев, попросил их показать причину ихнего горя — и тут же обоих от той причины и избавил: в карман своего малинового пиджака ее опустил. В качестве же компенсации за перенесенные страдания мужику тут же банку водки «Петров» выставил, а бабе целную посудомоечную машину посулил. Обещал вскорости наведаться еще, опять с подарками, а рябую куру велел отныне только нетравленным зерном кормить — вдруг она, говорит, еще и бриллиантовые начнет нести, типа фаберже. Я ей, говорит, тогда новую ногу из стволовых клеток выращу, истинный крест. И на портрет Мавроди перекрестился. А уезжая из деревни, к избе той личного питбультерьера по кличке Рэкетир приставил — чтобы тот излишне любопытных подале отгонял.

В общем, все довольны остались. Мужик баночку «Петрова» уговорил, губу ему разъело, в мечты ударился: я, говорит, Марфа Никандровна, нашей хохлатке новую жердь для насеста, как стемнеет, у соседа стилибо ню. А Марфа, понятное дело, посуду мыть сразу же перестала — сидит себе и посудомоечную машину ждет. Ну, а добрый молодец, косая сажень в физиогномии — тот надеждой на новые яйца себя окрыляет и под залог тех яиц недвижимость приобретает.

Вот только курица недовольна. Да и как ей быть довольной, ежели ее тот Рэкетир нечаянно загрыз?

Ну, а коли загрыз, то и сказке конец, кто слушал — молодец, тому на палочке леденец. А кто не слушал — сберег уши.

КУЗЬМА СКОРОБОГАТЫЙ

Жил-поживал в недавние времена Кузьма...а может, и не Кузьма вовсе, а Кузьмин, или там Кузьмищев, а то и вовсе Подкузькин — это доподлинно не известно. Кузьма, одним словом.

И решил тот Кузьма скоропостижно разбогатеть. Люди вон богатеют прямо на глазах, а чем Кузьма хуже? Стал он прикидывать то хрен к носу, то наоборот: чем бы таким выгодным заняться? И начал газетами возле платного туалета торговать.

Дело, вроде бы, прибыльное по всем статьям: ежели у кого нужда в таком месте случится, так статья тут в самый раз подойдет. Но не тут -то было: начали Кузьму бить. Сперва демократы, ибо он, как выяснилось, именно демократической прессой и спекулировал. А потом включились в это дело и сами спекулянты, воротили туалетного бизнеса: у них, видите ли, клиентура перестала за отдельную плату мягкую бумажку приобретать, норовила с Кузиной газеткой в платные палаты проскочить.

А в третий раз к Кузьме просто какие-то лихие молодцы подошли, непонятного роду -племени — и пообещали его в его же газетки вместо савана закатать.

Свернул он свой дурно пахнущий бизнес, но горевал недолго, потому как вскоре наступил полный ужас денежного обращения: деньги вроде бы и есть, а вот как обращаться с ними, никто не знает — не то в банк положить, не то в матрац зашить. Некоторые от безысходности даже пропивать их начали — все равно, мол, пропадут.

Но наш Кузьма не из таковских оказался. Куда ж это они пропадут, сказал он сам себе, в черную дыру, что ли, улетят? Пушай у того улетают, у кого их мало. А вот ежели поболее этих денежек собрать...И стал наш Кузьма, навроде Мавроди, пирамиду из денег возводить — только не египетскую, а русскую. Дураков -то у нас на Руси во все времена

хватало, а в те времена, о которых мы речь ведем, и у самых разумных ум за разум заходил.

Не скоро сказка сказывается, а пирамида скоро возводится: понесли Кузьме деньги и стар, и млад, и красны девицы, и добры молодцы. Понятно, что не за здорово живешь — все под честное-благородное слово, под волшебный процент. И возвел Кузьма пирамиду такую, что ни в сказке сказать, ни налоговой подступиться. Так ая глыбища из кровных, похоронных, чулочных и подпотолочных собралась, что глянешь — шапка валится. А наверху сам Кузьма восседает!

Но попутал его бес. Ему бы потихоньку да полегоньку передвинуть эту самую пирамиду куда-нибудь поближе к Египту, чтобы вкладчикам уж нипочем не достать было, а его жадность обуяла: все гребет и гребет деньги, возводит и возводит свою пирамиду. И довозводился — рухнула глыба под собственной тяжестью, и самого Кузьму чуть не придавила. Еле ушел с двумя чемоданчиками зеленых долларов.

Другому бы при таком обороте событий сразу краденец пришел, да не на того Кузьму напали! Рассудил он так, что и с двух чемоданов подняться можно, ежели дело грамотно поставить. А как любое дело ставить грамотно, он уж давно уразумел: надо зеленые доллары сюда завозить, а отсюда товар везти.

И пошло у Кузьмы дело. Зашелестели его доллары, а в ответ загудели теплоходы, загрохотали поезда, зарычали моторы тракторов, лесовозов, комбайнов. И полетели — поплыли за бугор купленные на эти доллары лес, уголь, нефть, металл в слитках и прокате, кожи, меха, антиквариат, редкие травы и звери... А обратно, из-за бугра, рекой потекли доллары, доллары, доллары...

И стал Кузьма Скоробогатым. А земляки его — скоробедными. И дети земляков, и внуки, и не рожденные еще правнуки — все стали скоробедными.

Всех Кузьма одолел. Всех Кузьма подкузьмил.

А чтобы ему никто и слова супротивного сказать не смог, купил он себе депутатское кресло в думе. И закон издал: кто его прежнее туалетное прошлое помянет — из того душу вон.

Еле-еле я эту сказочку в печать пропихнул.

ЗАБУБЯКИНСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ

— Эй, Федот! Слышно, что вы у себя в Забубякино какой-то суверенитет объявили... правда, что ли? Али брешут?

— Самая правда и есть. Теперича у нас полная забубякинская самостоятельность, стопроцентная.

— Дак это хорошо!

— Хорошо, да не очень.

— А что ж так?

— Да казна нам денег не дает теперича.

— Это, брат, плохо.

— Плохо, да не совсем. Ну и пушай они нам денег не дают! Мы тут свои собственные из бумаги нарезали да и в оборот запустили.

— Дак это хорошо!

— Хорошо, да не очень. Магазинов-то у нас своих мало, а в соседнем Прокудыкине на наши деньги ни вина, понимаешь, ни хлеба не отпускают.

— Это плохо, брат...

— Плохо, да не совсем. Мы им в ответ, прокудыкинским этим, войну объяви ли. Как который из них мимо нас проезжает, мы его в плен берем, в заложники. А выкуп уже в баксах требуем.

— Молодцы, хорошо!

— Хорошо, да не очень. Прокудыкинские терпели-терпели, собрались, да и отколошматили нас. Наши же, прикинь, заборы поразбирали и нашими же штакетинами — по нашим загравкам. У меня у самого до сих пор в глазах звезды плавают...

— Плохо...

— Плохо, да не совсем. Мы тогда на прокудыкинских жалобу в Совет Европы написали, а также и римскому папе. Ужо поприжмут им хвосты! Будут знать, как международное право нарушать! А мы под это дело еще и гуманитарной помощи попросили, потому как у нас трудности переходного периода.

— Ну, это хорошо.

— Хорошо, да не очень. Совет Европы хошь и осудил прокудыкинскую деятельность в специальном меморандуме, да прокудыкинским на этот меморандум оказалось наплевать — они теперь прилюдно и нас, и сам Совет Европы врагами всего живого величают. А папа римский про прокудыкинских помалкивает, знай нас в католичество зазывает. А гуманитарную помощь такую, брат, прислали, что стыдно сказать. Тонна тряпья да ветоши разной, даже на бутылку, блин, не обменяешь!

— Да, плохо...

— Плохо, да не совсем. Не одни ведь прокудыкинские на белом свете рядом с нами живут. Недалече от нас есть еще Подкукуево, там, говорят, нар од еще ничего себе живет. Так мы в отношении тех подкукуевцев международную санкцию замыслили — вот как стемнеет, соберемся и грабить их пойдем.

— Э-э-э! Постой! Я-то ведь как раз подкукуевский!

— Да ну? Эх, братуха, повезло же тебе, что ты меня встретил — скажу своим, чтобы тебя не трогали. А ты вот что — займи-ка мне червонец до завтра, только срочно и без отдачи. Мы, забубякинцы, нация суверенная — и никаких обид ни от кого не потерпим. А должок с африканских стран получишь. Мы им в свое время стоко газ у с нашего болота перегнали, что они еще и внукам нашим должны будут! Они, значится, мне должны, я — тебе, а ты с них стробуй. Взаимозачет называется.

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Один братан пил горькую — да так, в натуре, сильно, что ничего с собой поделывать не мог. Вернее, со своим внутренним голосом — тот ему каждое утро приказным тоном говорил:

— Выпей, братан! Кому говорю — выпей!

Братану делать нечего — подчинялся, пил, хотя от спиртного его просто уже воротило. Пробовал к наркологам обращаться — дохлый номер: от простого алкоголизма те еще брались избавить, а супротив внутреннего голоса мы, говорят, бессильны. И тут попался тому братану один психотерапевт — и всего за косарь зелени дал грамотный совет: ты, говорит, братан, должен так круто поменять всю свою жизнь, чтобы у этого твоего внутреннего голоса крышу напрочь снесло, чтоб онемел он!

Братан послушался: с делами завязал, с женой развелся, телефоны корешей из записной книжки вырвал, старые дурные привычки поменял на новые. Даже гражданство вместе со страной проживания сменил. И все это — круто, оперативно.

Внутренний голос, в натуре, онемел. И зажил наш братан трезвой жизнью у лазурного моря, под лучами теплого солнышка, под сенью роскошных пальм. И снаружи его никто не грузит, и внутри все помалкивает...ништяк!

И вдруг ночью просыпается он оттого, что ктой-то ему чегой-то бубнит на незнакомом наречии, и бубнит, прикинь, одно и то же. Е-мое, сечет братан, это ж мой внутренний супостат воскрес! Да еще и раньше хозяина чужую речь освоил, падла.

Братан уж и притворялся, что ничего не слышит, и орал : «Моя твоя не понимай!», и голос этот свой далеко-далеко посылал: не помогло. Тогда решился он все ж -таки понять, чего тот забугорный голос хочет — и записал на бумажку неведомые словеса. Дожил до утра, добежал до первого переводчика, бумажку ту ему сует: переведи, братуха!

А тот переводит:

— Выпей, брателло!

ВОЛЧОК

Был он когда-то грозой для всех — и для мелкой живности в лесах, и для детей в городах и весях. И как его только ни величали — и серым, и лютым, и разбойником лесным, и бирюком... Даже в злейшие враги человека записали! А уж когда из санитаров леса вычистили — совсем скукожился бывший Волк: забился в самую глухомань, наподобие русского мужика-«фермера», вести себя стал тише воды, ниже травы, И прозываться начал негромко и застенчиво — Волчок.

И в самом деле, какой он теперь Волк? Только вякни о своих природных правах и привилегиях — тут же на тебя свору псов натравят, типа Сванидзе или Киселева. А то и мировое общественное мнение с цепи спустят...а уж тамошние волкодавы — не чета нашим.

Сиди, получается, смирно, пасть не разевай, чти гуманитарные ценности.

Однако ж, и тихим-смирным жрать что-нибудь надо, не то совсем кони двинешь. А и тут проблема. Попробуй-ка нынче, хоть самую худую овечку умыкни! Раньше, бывало, стащит серый из стада какую-ни то особь, болящую и престарелую — погонят его мужики с вилами да колами до ближайшей околицы, да и отступятся. В итоге, и ему есть, что на зубок положить, и им польза — и размялись, и перед женами себя героями выставили. А теперь что? Теперь за такое вот противоправное деяние наше текущее по всем швам законодательство живо тебя на зону определит, на цельную пятилетку. А там и сам от туберкулеза загнешься. И никакой тебе помиловки. Намедни самый большой спец по этому вопросу, Вольфович по отчеству (Волкович, значит, натуральный сродственник) разъяснение прилюдно давал: ежели ты не Гусинский лапчатый и миллиарды у своего народа стащить не додумался — никакой амнистии не подлежишь.

Раньше Волку в вину еще и Красную Шапочку ставили. Что греха таить, было такое дело. Но, слава богу, нынче такие Красные Шапочки пошли, что только «ой!» — ты с нее красную шапочку снимаешь, а она тут же норовит до черного белья раздеться. Современное половое просвещение, видите ли, вовремя получила. Еще в яслях. Так что, хотя бы сексуальное развращение русского народа серому не шьют. И то, как говорится, хлеб.

Но и тех статей, что есть, предостаточно для полного отчаяния. И взвыл бы наш герой на весь лес, да боится: сразу ведь в неконструктивную оппозицию определят, даром, что ты серый, а не красно-коричневый. А то и в шахиды запишут, в связях с боевиками обвинят. На ихнем газаватском знамени, в полный рост, помните, кто изображен?! То -то и оно... Так что, лежи, Волчок, и тихо поскуливай.

Однако настоящая беда для нашего серого нежданно-негаданно совсем рядом объявилась, под боком.

Жила-была в прежние годы в том же сельсовете коза -Дереза, веселая вдова. Еще и в те времена Волк из-за нее несправедливые гонения и всяческую на праслину терпел. Она ведь всегда безмужняя жила и, как положено в таких одиноких женских обстоятельствах, шлялась почем зря. Ну, и к Волку как-то подкатилась, мужику во всех отношениях состоятельному. А тот — ни бе, ни ме. Отверг, получается, ее домогательства.

И тут пошло-поехало! И прежде слыла Дереза бабенкой скандальной, а тут словно с цепи сорвалась — живо всю лесную общественность против Волка настроила. Даже фольклор в клеветнических целях использовала: выставила, понимаешь, всех своих

семерых отпрысков, которых ей ветром надуло, невинными жертвами нашего серого. И ведь поверили ей! У нас козлам всегда верят.

Но тогда Волк все эти надругательства стерпел, а с началом перестройки коза и сама за бугор слиняла, в гувернантки. А все семеро детушек ее са ми по себе продолжали расти и воспитываться. В основном, по чужим огородам капусту шерстили. Но по малолетству и сиротству им это прощали.

И не заметил Волчок, как его беспокойные соседи выросли в круп номасштабных Козлов. Сперва травкой ребята промышляли, а потом и на колеса перешли. И не подворовывали уже, как прежде, а открытым разбоем занялись, рога и копыта распускать начали. А больше всех Волчку стало доставаться: вбили ребятки в свои рогатые головы, что именно он и есть их главный враг — с самого их раннего обиженного детства.

Наезжать начали по-черному. То грязной водой из лужи обдадут, на мерсе мимо проносясь, то по уху нечаянно у пивной съездят. А потом и более серьезные предьявы кидать стали:

— Ты, волчара позорный, нашу мамашу, бедную вдову, в св ое время ограбил, должок за тобой! Гони капусту, да пошустрее, пока на счетчик не поставили!

Плюнул Волчок с досады — все равно ведь от этих скотов не отделаешься, и засадил пол-огорода капустой. Целый воз ее Козлам осенью припер! А те его за серость на см ех подняли — на их новорусском жаргоне «капустой» -то, оказывается, деньги забугорные называются. А откуда ж это Волчку знать, у него и наших -то деревянных сроду не водилось.

Козлы тут вовсе озверели, перешли к активным действиям — и лишили Волчка электроснабжения. Обрезали идущие к его логову электропровода и сдали их скупщику цветных металлов.

Пошел было Волчок правду искать в лесную милицию, на беспредел жаловаться. Но только заглянул в дверь той милиции, как и отпрянул в ужасе: там старший сержант Козлов при полном параде сидит и заявления от граждан принимает. Увидел он Волчка, мигнул своим нахальным желтым глазом... и не запомнил наш серый, как дома очутился, как ноги унес.

Сидит он себе, горюет, нос на улицу высунуть боится, а на улице натуральный ко шар — шум, грохот, стон-музон на всю округу. Козлы гуляют! Распахивается дверь в волчью лачугу, вваливается самый младший и самый вредный Козел, пьяней вина, и мычит:

— Ну че, падла! Помнишь, как я от тебя в печке прятался? Теперь на нашей улице праздник! А ну, сам полезай в печку! Кому говорю?!

Оробел от такой наглости Волчок — и полез в темное, тесное, грязное устье русской печи. А Козел стоит сзади, копытом своим поганым его попихивает, бородашкой тощей трясет и хохочет на всю Волчкову избу.

Уперся Волчок в жесткие и шершавые камни — все, полный тупик. Велик лес, а отступать больше некуда! Заплакал от горя и ненависти наш серый...и вдруг вместо жалкого стона вырвался из его мощно раздавшейся груди могучий рык...

Развалились кирпичи. Вылез на свет в клуба х пыли и пепла уже не замурзанный Волчок, а тот самый, самим собою забытый Волк — мощный зверюга с клыкастой пастью и упругим стальным телом. Грива дыбом стоит, зеленые глаза искры мечут. Обмер от смертного ужаса младший Козел и стала под ним вонючая лужа расплываться.

И грянула тут над той лесной стороной могучая буря. Зашумели вершинами березы и ели, закипела вода в лесных родниках, попрятались в норы барсуки и лисицы. И долго слышно было за всеми буграми, как, заглушая мат и блеяние, возносился к потемне вшему небу мощный и победительный волчий рык.

Потом стихло все. И по трепещущему, освеженному ливнем лесу пошел гордой поступью красивый и сильный зверь. Тот самый Волк.

А рядом с покинутым им навсегда логовом — местом его прошлого малодушия и позора — остались лишь мелкие козьи какашки.



Евгений Разумов

Дыра над Голгофой

* * *

В глубине слухового окна,
под стеклом самодельного sklepa
спят иные совсем времена,
вспоминать о которых нелепо.

И, на ржавой булавке застыв,
опьянев от эфира когда-то,
спит мой бражник и — диво из див —
махаон мой, и оба — усаты.

И не будет мне места в раю
уж хотя бы поэтому только.
Может быть, потому и стою
перед домом, задравши тирольку,

и смотрю в слуховое окно,
за которым гербариев жухлых
воскресить никому не дано,
а тем более — в пальчиках пухлых,

что листали их некогда здесь,
в этом доме, где бабушки фото
узнает — только шляпу повесь
на гвоздочек левее киота.

Евгений Анатольевич Разумов родился в 1955 году в костромском селе Шахово. Окончив среднюю школу, служил в армии, работал актером театра драмы, журналистом, литературным консультантом Костромской писательской организации. Заочно окончил Литературный институт имени А.М. Горького. В настоящее время работает сотрудником информационного агентства.

Стихи Е. Разумова печатались в журналах «Литературная учеба», «Подъем», «Волга», «Уральский следопыт», «Русь», областных и столичных коллективных сборниках и альманахах. В 1986 году издательство «Современник» опубликовало его первую книгу стихотворений «Летучая ладья». Затем в Костроме вышли в свет еще три книги поэта — «Глаза небес», «Прудяные холсты» и «Четвертый Карфаген». Член Союза писателей России.

Живет в Костроме.

© Евгений Разумов, 2005.

* * *

Вместо ангела в крупке метельной
сквозь сугробы протопчет тропу
алконавт со щетиной недельной.
Постучит — и отдернешь скобу.

«Елы-палы», —дохнет самосадам
и, учуявши спирт за версту,
вскроет кильку, что пахнет томатом,
и — конец, понимаешь, посту.

И уже никаким серафимам
не поднять эту подлую плоть,
этот дух к небесам нелюдимым,
чтобы сделать тверезыми хоть.

Отхлебнувши лампадного масла,
перекрестишься на рукомой,
не узрев: не лампадка погасла —
свет, суливший дорогу домой.

* * *

Неказистый плывет ледокол
по Ключевке, минуя Селище.
Над скворечником кружит щегол,
долбит дятел дырявое днище.

Есть гармония в этих кустах
бересклета, а может, рогоза.
Замечательно в этих местах
то, что здесь не слышать паровоза.

Прогремит над рекою ЗИЛок,
что в Козелино возит бидоны,
и опять — тишина между строк,
и не верится в армагеддоны.

И опять, размышляя, жуку
уступаешь дорогу невольно,
потому что на том берегу
по обоим звонит колокольня.

Впрочем, все насекомые спят
и не слышат гудка ледокола.
Наберу-ка осенних опят
да гвоздики нарву для рассола.

* * *

Не возбраняется, конечно,
свернуть в проулок, где тобой
прибита к дереву скворечня
над покосившейся судьбой.

Подслеповатому окошку
осточертел весь белый свет,
но смотрит гипсовая кошка
туда, куда смотреть не след.

В ней прежде звякали копейки
и даже рубль порой хрустел.
Не в этом дело... Дождь из лейки
не раз окатит сей предел

и смоем все следы прохожих
и хвою от еловых лап.
И дед прошаркает в калошах
навстречу памяти... Ослаб.

А прежде — бабы липли, пиво
текло рекой, гармонь была...
Да и скворечне сиротливо
без оперенного тепла.

Вот-вот затеплится окошко,
и ужин разогреет дед.
И только гипсовая кошка
мяукнет прошлому вослед.

* * *

Никуда — от убогого быта,
никуда — от своих сорока.
В рай, казалось бы, дверь приоткрыта,
да не так эта дверь широка.

Не юродивый с виду, однако
это я — с головой набекрень,
это я вою, точно собака,
и частушки пою — трень да брень.

Пусть не верится глупому люду —
умный люд за душою найдет
то, чем я через времечко буду,
то, чем потчевал дам и господ.

Это, ясно, не Пушкина лира —
балалаечка... Но и она,
как захазная эта квартира,
мне зачем-то ведь Богом дана?..

* * *

Наверное, в раю, где комары
отсутствуют, секатором срезая
сухие ветви, млея от жары,
пройдет разок душа моя босая,

и насладится щебетом, и душ,
достойных более, насмотрится украдкой,
и наберет упавших наземь груш,
стряхнувши ос над вскопанною грядкой.

Взваливши заступ, побредет душа
в иные веси облачного края,
где под ногами — росчерки стрижа
да души тех, что бредят, умирая.

И будут выть геенны голоса,
земным ознобом стягивая плечи.
И испарится на лету слеза —
бесплотная, но все же человечья.

* * *

На Таити созрели кокосы...
Но не это волнует, а то,
что ступни от рождения босы,
а душа может жить без пальто.

Если пахнет в раю ананасом
и амброзии пей не хочу,
я оставлю тот рай папуасам,
за их души поставив свечу.

Мне ж достаточно озера ныне
и замшелого камня при нем —
посидеть в этой райской долине
в одиночестве, ветреным днем.

Можно иву еще недалече,
чтобы в кроне неумолчный шум
заглушил мой язык человеческий,
подготовив для ангельских дум.

Ну, не ангельских — чином пониже...
Под березою зябну в пальто.
Спят омары на блюдах Парижа.
Не про это я. И не про то.

* * *

Шагнешь из «пазика» на гравий —
и обозначишься среди
послевоенных фотографий,
лежащих около груди.

Ни покосившейся избенки,
ни шелеста березы той...
Послевоенные девчонки —
и те разъехались... Постой —

а может, дом приснился отчий
и без вести не сгинул дед?
Как много в жизни многоточий
расставленных там, где не след...

Постой. За сорок лет, пожалуй,
минута выдалась теперь
ступить с молитвой запоздалой
через незапертую дверь

в избу, где не гремят ухваты,
не слышно ходиков, где лишь
венцы, осевшие когда-то
золой. Где, плачущий, стоишь.

* * *

Подкатит троллейбус к вокзалу,
а к горлу подкатит комок.
И ты ничего не сказала,
и я молчаливо промок.

Обычная осень, дружочек,
пора расставаний земных.
Останется — зимний твой почерк
да свет фонарей ледяных.

Останется времени эхо,
тропа на альпийском снегу,
фольга с золотого ореха,
что я к рождеству берегу.

А все остальное — ни звуком,
ни буквою не сохранить.
Лишь сердце больничное — стуком —
рисует чернильную нить.

* * *

Вместо вишневого сада —
пара штакетин в снегу.
Вроде проститься бы надо,
милая. И — не могу.

Бабочкой ты не порхала,
просто брела наугад.
Эти штакетины мало
напоминают тот сад.

Ягоды съедены. Скоро
станет землею листва.
Но — никакого укора,
милая. Ты ведь права.

Ты не могла бесконечно,
жизнь, оставаться моей.
Суну в мешок свой заплечный
пару твоих сухарей.

* * *

Где рисовала счастье маленькая ладошка
розовыми мелками, вижу: цветет крапива.
Вижу: на этом месте бродит хромая кошка —
та, что уже не верит в то, что мы тоже живы.

Милая, все поблекло или покрылось пылью,
даже рисунок счастья с розовым словом ПАПА.
Ангел сложил на небе, что по-над нами, крылья.
Кошке мешает прыгнуть выше крапивы лапа.

Что же приходят ноги в мир, где они стояли
возле мяча цветного, возле коляски детской?
Кошка спала из плюша, в стеганом одеяле
рядом с ладошкой теплой пряча усы из лески.

«Верить тому не надо!» — каркает мне ворона.
И без вороны знаю: вечного нет в помине.
Пыль говорит от камня города Вавилона
«мяу» хромое это в этой моей пустыне.

* * *

Вминая морды лошадей
в чужие спины, шаг за шагом
орда бредет поверх людей
и скармливает их собакам.

Забыв, откуда и куда
брела она все эти годы,
ползет усталая орда,
пугая космами народы.

Сама ли вымрет по пути
иль встречным ордам покорится —
орда не может не идти,
морщина под мечами лица.

Трава не стелется за ней.
Песок проглатывает кости
людей косматых и коней
в столетней, может быть, коросте.

Питер Брейгель
«КРЕСТЬЯНСКИЙ ТАНЕЦ»

Элем вчерашним разит от волынки.
Выпили много, но этого мало.
Лей-наливай и сегодня из кринки,
режь-отрезай от вчерашнего сала!

Много ли праздников с этого дуба
нам улыбнется иконкой прибитой?
Ешь — и тогда не затупятся зубы,
будут смеяться на роже небритой!

А витражи — витражи не такие
нам отпускали грехи, дурачина!
Пей, ибо бражники — люди благие,
не унывают — и в этом причина

солнца на небе и колоса в поле,
женщин брюхатых и денег в кубышке.
Яростным топотом лечат мозоли,
тряска зело хороша при отрыжке!

Дуй-выдувай неземные вопросы,
хриплый волынщик, у нас из-под шапок,
чтобы слеза не закапала с носа
сивой башки, запрокинутой набок!..

ИЕРИХОН

Шестые сутки на исходе.
Ногам пришедших отдых дан.
Но ходит, ходит слух в народе:
не зря разверзся Иордан.

От пыли трубы вновь протерты,
и отражает серебро
уже не толпы, а когорты,
не стены — города нутро.

И там, на стенах — не до смеха,
поскольку схлынула вода.
Иноплеменный голос эха
другие будит города.

А этому — стоять до завтра,
до воя из седьмой трубы,
пока песчинок миллиарды
вновь не осядут на гробы,

пока библейскую страницу
пустыня не перевернет,
захлопнув толпы очевидцев
по обе стороны ворот.

* * *

Серое небо серой вздуто по-над Гоморрой,
но прилипает к коже кожа чужая в страсти.
Стонет земля, качаясь день или год который
вот уже... Пахнут гнилью, с веток свисая, сласти.

Взгляды блудливо шарят по сторонам. Нелепо
задраны те одежды, что уцелели чудом
в оргиях... Познан каждый... Что остается? Небо,
ангелам где досталось скорбно парить над блудом.

Вон из Содома старец вышел. Еще фигуры...
Вон над Содомом туча черная, как... И крики.
Дождь разъедает кожу, крыши и арматуру
наших реклам, и гаснут в лужах неона блики.

Мимо домов публичных едет слепой автобус,
на катафалк похожий, трупы давя резиной.
Катится по асфальту выжженный серой глобус,
тикая безнадежно самую сердцевиной.

Только фигура старца возле столпа застыла,
только крупницы соли видят меня оттуда.
Господи! Разве может быть эта плоть постыла?!
Серое небо серой по-над Гоморрой вздуто.

* * *

Земляне делят Его плащаницу,
и римские гвозди, и возле Голгофы
щепу от креста, на которую лица
уставят, не зря впереди катастрофы

от сонма церквей, разделяющих тело,
единое некогда тело Христово.
Того ли звезда Вифлеема хотела?
О том ли в начале услышано Слово?

Ощерясь анафемой, пикой, оградой,
где крест — лишь орнамент сегодня, не боле,
земные конфессии стали расплатой
за то, что щепу предпочли Его боли.

Поделим и землю, и гвозди, и души,
и выставим в небо земные хоругви,
и станем как будто святее снаружи,
приблизившись как бы к евангельской букве.

Останется в небе дыра над Голгофой,
откуда виднее распятие Сына...
Завет потому называется Новый,
что небо над Новым Заветом — едино.

* * *

Когда топор косматого Петра
просунулся в Европу из оконца,
отпрянула, наверно, немчура,
в себе похоронившая тевтонца.

«Антихрист!» — доносилось из окна.
«О Матка Боска!» — щерилось навстречу.
«Великая китайская стена», —
подумал Петр. И опустили плечи.

И тут же стало зарастать щепой,
кондовым мохом свежее окошко.
Очнулся царь, пошарил пред собой —
опять бревно! — и осознал оплошку.

И замахнулся, и вогнал топор
в китайско-византийскую ограду,
что до сих пор стоит. И до сих пор
топор держать костям Петровым надо.

* * *

Быть может, только к сорока
почувствуешь: смиренья чаша
отнюдь не более горька,
чем и сама планида наша.

И осознание любви
придет в покинутую душу,
и «Господи, благослови!»
невольно вырвется наружу.

И с неумелых уст слетит
молитва — первая, быть может.
Край неба будет приоткрыт,
когда на край земли положат.

* * *

Царь-пароход причалит к пристани
в губернском городе во сне.
Рожденные соцреалистами,
мы втянем головы в окне.

А за окном тысячеликое
лицо Расеюшки стоит.
И государь, как все великое,
имеет самый трезвый вид,

хотя устал он от Распутина
и камарильи, по всему...
Мы, стриженные все под Путина,
уж не завидуем ему.

Мы знаем: впереди — эрцгерцоги,
масоны, розы люксембург,
и левизны болезни детские,
и город Екатеринбург.

Но ждет на выставке купечество
и полицейские чины.
Два императорских величества
сыграть историю должны,

раздать часы по назначению,
одобрить города меню...
Империи часы последние
и я за пазухой храню.

Идут. Идут, и даже тикают.
Лишь стрелки погнуты кирзой.
Да государь, как все великое,
в телеге корчится босой.

ПОЭЗИЯ

Леонид Советников



Приметы осени

* * *

Пора уж к веку золотому
Припасть натруженной пчелой
И слов горящую истому
Сбирать для фразы ключевой.

И сквозь черты чертополоха
Бурьяна буйство, мощь хвощей
Приметить, что не все так плохо
В природной прихоти вещей,

Что, разгоняя кровь по жилам
Юнцам и даже старожилам,
Немее мир пред глубиной,
Лишенной твердого значенья,
Но полной тихого свечеенья,
Неясной прелести земной.

А в небе клин и лист кленовый —
Приметы осени, где новый
Короткий век дарован мне.
И я в тоске провинциальной
С какой-то нежностью печальной
Гляжу на летний куст в огне:
Он подражает купине.

Леонид Николаевич Советников родился в Рыбинске в 1955 году в семье работника завода «Полиграфмаш». В 1975 году окончил Рыбинский полиграфический техникум, затем служил в армии, трудился в конструкторском бюро полиграфического машиностроения. В 1978 году, уволившись из КБ, устроился на работу в фонды рыбинского филиала областного государственного архива, одновременно поступив учиться в институт, на историко-филологическое отделение.

Случившееся несчастье (перелом позвоночника с повреждением спинного мозга) потребовало напряжения всех сил, Леонид заново учился ходить. Врачи и родные спасли его, но учебу в вузе пришлось оставить.

Литературным творчеством занимается со школьной скамьи, принимал активное участие в работе рыбинских литературных объединений. Стихи публиковал в коллективных сборниках и периодических изданиях, автор двух поэтических книг. Постоянный автор нашего журнала. С 1997 года - член Союза российских писателей.

Живет в Рыбинске.

© Леонид Советников, 2005.

* * *

Сегодня облака — седые, как снега,
Когда их наметет сыпучими холмами.
И свет издалека, и жизнь издалека
Сияют, будто сны, покинутые нами.

А завтра — синий лед и ветер запоем
О звездах и листве, что были золотыми.
А может, и о нас, не отводивших глаз,
Умевших тосковать и любоваться ими.

И мы приснимся вам, не верящим словам, —
Как звезды, что горят, хотя давно остыли,
Как одиноких дум плывущий в небе дым,
Как золото листвы в слюде дорожной пыли.

* * *

Летят, как листья по ветру, года,
Чтоб на дорогах памяти улечься.
И ты из ниоткуда в никуда
Бредешь, не в силах забытьем увлечься,

Остановить и ветер, и листву —
Весь этот сброд, хаос противоречий,
Где всякий мнит: я в памяти живу!
Где мнишь и сам: хотя бы в русской речи...

Но что сказать сквозь бронзовый налет
Глухой травы — наследья родового?
Когда не ссылка и не гибель ждет,
А равнодушие до потери слова.

* * *

Жизнь, как платье, давалась на вырост, и вот — коротка.
В ней нелепым кажусь, хоть нелепей она выставляла.
Не хватает всего — голубого, без мути, глотка,
Воскового луча, что проник в заточенье Дедала.

Чем убыточней свет, тем цветней и отважней листва.
Как я осень люблю за такую с ней нашу напрасность!
Будет глубокомысленна и безупречно права
Вслед за этим зимы ледяная бессильная ясность.

Будут скованны речи речных говорящих камней.
Обесточатся ив оголенные черные прутья.
А пока — что за бред, что за чувства приходят ко мне!
По горящим узорам аллей пролагаю им путь я.

* * *

На огонь мы открыто глядим.
Так ли будем на вечности дым?

Глеет долго в потемках зола,
Будто света порог перешла,

И мерцает не свет, а тепло.
Наконец, и до сердца дошло.

Дальний берег похож на провал.
Я ведь жизнью тебя называл.

* * *

А холод осенний бывает — что клад,
Для бедного сердца, в котором горят

Полоски надежды, уловки игры
И прочие блески земной мишуры.

На пепле желаний, на шелесте чувств
Ты озимь сомнений посеял, ты пуст

И ведаешь то, что дано старикам:
Мечтая о жатве, готовься к снегам;

Надеясь на радость, тоску пожалей —
Ведь скоро не будет и пасмурных дней.

БЕГСТВО

Все южнее, все дальше в пески,
Одинокий, везу я младенца.
От людской бесконечной тоски
Никуда мне, верблюду, не деться.

Как выносливый древний ковчег
В волн барханах барахтался с Ноем,
Я — с наставником. Сам — и ночлег,
И надежда измученным зноем.

«Эти волны залива — обман,
Занесенный сюда из Мадраса...» —
Так шептали разбойники нам,
Оглушенные совести гласом.

На младенца взирали без сил,
И молений колодец был выпит.
Вот тогда влажный дух возвестил:
Спасены! Где-то рядом — Египет!

* * *

Я в детстве подолгу любил на юру
Нацеливать в небо сомнений стрелу,
О силе небесной взывая к орлу,
Взывал — и высокий ответил,
Что сила над нами подобна орлу,
Чей огненный клюв пробивает скалу,
А коготь пронзает Вселенной юлу
И времени солнечный ветер!

Мне в юности часто являлись во сне
Ушедшие — в тлеющем, мрачном огне.
Я в поле бежал, к одинокой сосне,
Молчал — и прямая скрипела,
Что сила под нами подобна сосне,
Чей ствол корабельный увяз в глубине,
А корень взрывает могилы на дне
Миров, погребенных умело.

Я жил одиноко. И старость пришла.
Мой тлеющий разум, как ночь, обняла
Осенняя ранняя тихая мгла —
И стал он воистину светел!
И эта холодная славная мгла
Мне жизнь осветила, как только могла.
И тихо спросил я: где ж раньше была?
Спросил, но никто не ответил.



Николай Бойко

Тундра большая, всем хватит

ЯШКА БОЛЕЗНЫЙ

Совсем еще малым был я, но помню, на всю жизнь врезалось в мою цепкую детскую память, как комбедовец Яков Грабастый ходил по селу под красным флагом... Он его держал не прямо над головой, а сильно наклонив вперед, — получалось, что он ему служил вроде щита, за которым не то что не страшно (на бедре у Якова болталась огромная деревянная кобура с наганом), а возникало чувство некоей особенной причастности к большому государственному делу, этакая правовая уверенность безнаказанно действовать — всегда «в разрезе линии и последних указаний».

Рядом шагали его дружки из комбеда — кто с длинным стальным щупом, способным глубоко протыкать землю, кто с увесистым ломиком на плече и лопатой в руке. Они входили в чужие дворы, как в свои, и искали запрятанный в потайных ямах хлеб, которого уже не было, его весь отняли еще осенью.

У нас истыкали, искололи всю землю во дворе и за хатой, рыли в хлеву и под собачьей конурой. Но ничего не нашли, никакого зерна. И тогда Яков — как сейчас это вижу — забрал у матери, вырвав из рук, мешочек с белой семенной фасолью, «пешей» она называлась.

— Даю сутки сроку. Не сдадите пятьдесят пудов жита — завтра этапом у меня пойдете!

Николай Андреевич Бойко родился в 1925 году в белорусском Полесье, в семье крестьянина - середняка, покинувшего родные места в период раскулачивания. Учился в Киевском железнодорожном техникуме, закончить который помешала война. В 1941 году был призван в Красную Армию, на Полтавщине попал в плен, бежал; выданный полицией немцам, был отправлен в Германию на работы. Из Берлина вновь бежал, направляясь в чешскую Моравию, но был задержан советскими войсками и отправлен в лагерь. Став из заключенного спецпереселенцем, окончил курсы буровых мастеров, работал на шахтах ГУЛАГа — буровым мастером, геологом, начальником участка картировочного бурения. Заочно учился в Воркутинском филиале Ленинградского горного института, откуда был отчислен по политическим мотивам. Затем работал машинистом бурильного станка, мастером, геологом в организации «Инташахтгеология».

В настоящее время — пенсионер.

Повести и рассказы Н. Бойко публиковались в журналах «Север», «Неман», «Звезда», «Радуга», «Уральский следопыт», «Волга», «Молодая гвардия», «Русь». В 1989 году в Верхне-Волжском книжном издательстве опубликовал книгу прозы «Новая хата с холодными углами». За роман «Под Андреевским флагом» удостоен областной литературной премии. Член Союза писателей России.

Живет в городе Шуче Ивановской области.

Помню, я держал в руке недоеденную вареную картофелину (перед этим мы завтракали), он заметил ее и вернулся от дверей — вырвал, бросил на пол и раздавил сапогом. После чего выстрелил в передний угол, в образа под рушни ком, и вывалился из хаты, так стукнув дверью, что посыпалась со стен штукатурка и тонко зазвенели окна.

В ту же ночь отец с матерью, не дождавшись конца суток, кинули все тут — скособоченную хату с прогнившей соломенной стрехой, пустой хлев без коровы, разгороженный двор — и с узлами через плечо и малыми детьми на руках (а которые постарше, бежали сзади) подались глухими безлюдными проселками на далекую железнодорожную станцию Тетерев.

Бежали, как от чумы, куда глаза глядят. А точнее сказать — к дедушке в Барановичи, маминому отцу, которого тоже согнали со своей земли. Мы даже не знали, где он там, живет ли еще или давно помер, потому что писем он нам не писал, боясь выдать себя; бежали в белый свет.

Ночь непроглядная, глаза дороги не видят, а отец все оглядывался, тревожно вслушивался: не настигает ли Яков Грабастый верхом на коне, не палит ли из нагана вдогонку...

Со временем у Якова Грабастого отняли флаг и наган, и он стал просто Яшкой — маленьким, ничуть не страшным человечком почти подросткового роста. Я бы сказал, ничтожно смешным; а если что и пугало в нем, так это его большая амбарная книга, с которой он никогда не расставался, наверное, опасаясь остаться совсем без ничего, без всяких атрибутов власти.

Эта истрепанная счетная книга почти все время бездействовала. Яков работал в колхозе, делал все, что приходилось. Занаряжали ездовым — целый день ездил, что-то привозил-отвозил. Посылали в поле копнить солому — кидал на плечо длинные деревянные вилы и шел копнить. Ставили скотником к дояркам на ферму — и здесь вроде как был на месте.

Но несколько раз в году, на большие советские праздники, на Якова находило, как говорили в селе, «затмение» — им вдруг овладевало смутное, тревожное чувство беспокойства. Ему начинало чего-то не хватать, чего-то незримого, но очень существенного.

Выпив, он враз вспоминал, как давным-давно сидел в сельсовете, — когда шла сплошная коллективизация, государству не хватало хлеба, картошки и оно все под метлу забирало (но все равно не хватало) — и приходилось ему организовывать «красные бригады», чтобы забрать то последнее, что человек приберег на черный день для себя и своих детей.

Он вдруг чувствовал себя «при законе» — и преображался. Как старый боевой конь, слышавший призыв полковой трубы, он уже не мог усидеть на месте и торопливо, насколько позволяла расстроенная координация движений, подпоясывался желтым кожаным ремнем с тусклой медной пряжкой, который один и уцелел из всей его комбедовской амуниции. Расправлял узкие сутулые плечи, приосанивался и говорил своей жинке Калерии:

— Ну, я пошел, Кавалерия. Тепериче они меня, сукины дети, узнают! А то взяли, вишь, моду — узнавать перестали. Хоть весь день ходи по селу и кричи: «Вот он я, Яков Силыч, забыли?» — не узнают...

— Ты бы лучше повiniлся перед ними, чем так -от, — вздыхала Калерия.

— По-твоему, мне у всего села просить прощения надо?

— Начни с меня. Ты ж меня чуть было не посадил. Забыл? Потом с крайней хаты. Дойдешь до магазина и стань на колени — сами поймут.

— Эт! — сердито отмахивался Яков. — Пехота ты у меня, а не красная кавалерия!..

Бережно брал он свою амбарную книгу, вытаскивал огрызок синего химического карандаша откуда-то из глубоких карманов галифе, обсоюженного потерявшей цвет

кожей, и не глядя на свою Калерию, которая, как всегда, лишь горестно покачивала головой, твердым, неожиданно трезвым шагом выходил на улицу.

Здесь осматривался, раздумывал. Село — вот оно, все перед глазами, до мелочей знакомое. Правда, многое в нем с тех пор изменилось, старые люди умерли, молодые выросли, но что они сейчас Якову Грабастому? Ведь улица начинается все с той же вечной Агафьи-налогонеплательщицы...

— Баба Гапа! Баба Гапа-а! — бежали впереди Якова дети. — Яшка болезный к тебе с книгой иде-от! Налог требова-ать!

— Пушай его идет.

Баба Агафья уже и позабыла, когда с нее и какой брали налог. Ей, наоборот, деньги платят. Одну «пензию», не очень щедрую — колхоз. Другую — за мужика и за сына — государство. Само же государство и приносит: аккуратно, в начале каждого месяца Тимоха-почтальон заходит к ней в хату и отсчитывает, сколько положено: получай, баба Гапа, и шагай в магазин за хлебом и солью, небось хватит!..

Но Якову Грабастому это сейчас из головы вон. Для него, вновь волшебным перенесшегося в заветную историческую даль, баба Агафья не просто соседка, а злостная налогонеплательщица, за которой еще с прошлого года числится столько -то пудов мяса, хлеба, литров молока.

Торжественно-важно шествует он в конец улицы, к Агафьиному двору. Детвора со всего села все плотней вокруг него, все оживленней. Взрослые, кто с крыльца, кто из окон провожают его молчаливыми взглядами, то насмешливыми и осуждающими, то жалеющими.

Не жарко, скорее, свежо, но Грабастый вспотел, его редкие, серые от дружной седины волосы вылезли из-под старого полувоенного картуза и прилипли к гладкому лбу с залысинами и впалым, небритым щекам; лицо смертельно бледно от выпитой водки и огромного внутреннего напряжения, оно страдальчески морщится и подергивается. Голубенькие, как вылинявший ситчик, глаза сильно слезятся и часто смаргивают, но не замутнены они, а остро нацелены на вышедшую ему навстречу Агафью — крепкую грудастую старуху, еще черную волосом, по -праздничному одетую.

— Агафья Щетинкина твоя фамилия? — строго спрашивает Яков.

— Агафея, батюшко, Агафея.

Хозяйка и виду не подает, что несерьезно все это, что пройдет у Якова вслед за опьянением «затмение», и устыдится он своей амбарной книги и своего постыдного хождения по чужим дворам.

— Так, значит, гражданка Агафья Щетинка. Та -ак... С тебя, эт-то, требуется...

Яков Грабастый внушительно покашливает, оценивающе окидывает чистенький Агафьин дворик, ее самое со сложенными на груди короткими сильными руками, коричнево-темными от летней страды.

— Хату будешь описывать, касатик? — спрашивает Агафья по-прежнему ласково, как у младенца, которого навели на нее чужие нехорошие дяди: ступай, мол, она даст тебе новую игрушку, а старую, тряпичную, отняли.

— Придецца. Закон есть закон, — назидательно отвечает Яков. Отвечает не сразу, а войдя и по-хозяйски усевшись за стол. Так вольготно он и дома не сидит, у своей Калерии.

Развернув где-то на середине свою потрепанную амбарную книгу и уставившись глазами в страницу со столбиками каких-то корявых цифр и неразборчивых записей, он начинал вычитывать безлико-тусклым голосом, чего и сколько задолжала государству вышеозначенная гражданка Агафея Щетинкина...

Дивен Бог в делах своих! Ходит помешанный на грабительских налогах Яков Грабастый по чужой избе, как по своей, обмеривает, обстукивает стены, все в свою нелепую книгу старательно записывает и оценивает; заносит в нее даже старенький

телевизор, о котором в той жизни, в какой он, Яков Грабастый, сейчас пребывает, слыхом не слыхивали.

Описав все в хате, Яков выходит с раскрытой книгой во двор, заглядывает в хлев, где хрюкает сытый подсвинок, — и ставит его на учет. Спрашивает, куда хозяйка спрятала корову, в какой лес угнала и где привязала.

— В стаде пасется вместе с твоей, — отвечает Агафья, слегка усмехнувшись.

Казалось бы все — опись закончена. Но Яков, будто запрограммированный, бредет еще и на приусадебный участок — на «сотки», где у Агафьи грядки с огурцами, капустой, морковью, где уже отцвела картошка, — необходимо ему обмерить, подсчитать и записать, сколько и чего вырастет тут осенью...

Сюда — ботву топтать — Агафья его не пускает.

— Будя тебе, болезный, будя, — говорит она ему твердо. — Поиграл в старую власть, потешил душу, ступай отседа, ступай!

И решительно выпроваживает Якова из двора, и глядит вслед ему долгим задумчивым взглядом, в котором перемешались многие мысли и чувства.

— Эхма-а! — вздыхает. — Вот она, расплата!..

Проводив незванного гостя, постояв, подумав, но так и не разобравшись в своей противоречивой жалости, Агафья возвращается в хату.

Грабастый же продолжает свой путь. В одних дворах перед ним открывают калитку и, как Агафья, деланно-серьезно приглашают в хату, за праздничный стол: мол, давно накрыли, да не сажались пировать, тебя ждали...

В других, где молодежь, с трудом верящая в Якова с его амбарной книгой и в то далекое для них прошлое, что породило Грабастого, его либо вовсе не пускают даже на порог, либо, пустив, норовят откровенно грубо потешиться, позубоскалить.

— Смотри, дед, — показывают на стену. — Ржавый гвоздь торчит, занеси его в свою амбарную книгу. Завтра пришлешь исполнителя — выдернуть.

И смеются, не ведая, что спустя много лет Яков Грабастый вновь напомним им о себе — постучится в их двери и их души: «Не чурайтесь, не делайте вид, что вы ни причем и не знаете меня — я плоть от плоти ваш!»

...Кончалась короткая деревенская улица, но не кончалась Яшкина служба. Уже в густых вечерних сумерках перед своей хатой — чужой, неузнанной — Яков резко, как перед неожиданным препятствием останавливался и — что ему его грозная Калерия! — приступал к «исполнению».

— Фамилия? — начальственно-строго спрашивал он у жены, которая, конечно, вся уже кипела, но, не в пример другим деревенским бабам, не бегала за своим мужиком по улице, не смешила людей.

Высокая и плоская, похожая в темноте на приставленную к забору доску, она, как только начинало вечереть, выходила на улицу и молча, неподвижно поджидала Якова. Ждала стоя, не садясь на врытую в землю лавочку, не вглядываясь в противоположный конец улицы и не заговаривая с любопытствующими соседками.

— Фамилия? — не узнавал Яков своей Калерии.

Не отвечая, она быстро хватала его за воротник и вталкивала во двор. Яков падал, ронял свою драгоценную книгу. Демонстративно не замечая ее, Калерия волокла мужика к крыльцу. Здесь сильно встряхивала и ставила на ноги.

— У-у, комедиант проклятый, наказание мое! — стонала она сквозь стиснутые зубы. И вталкивала его, вяло сопротивляющегося, что-то глухо бормочущего, в хату.

Здесь, в черной половине, бросала прямо на пол рваный полушубок у порога, говорила с презрением: «Ложись уж, чтоб ты и не встал!» — и, опустошенная, мешком опускалась на лавку, откидывалась головою к стене. Словно подслушав Агафьины слова, растерянно шептала:

— Вот оно, наказание-то Господне!..

Утром Яков приходил в себя и, конечно же, не помнил, что было с ним вчера. Если что и приходило ему на память, то казалось оно происшедшим не с ним, порядочным колхозником Яковом Грабастым, а с кем-то другим, похожим на него. И было ему за этого другого вроде как совестно.

БЕГИ, БЕЛЫЙ ОЛЕНЬ!

Глубокой осенью в тундру пришли чужие люди. Их было так много, что Ярпы -Яг считал, считал да и счету у него не хватило — наверно, больше, чем белых полярных куропаток зимой.

На берегу реки эти чужие люди поставили странные деревянные чумы и назвали свое стойбище Большим Лагерем. Затем огородили его высоким забором, обнесли колючей проволокой, поставили крепкие высокие ворота и стали выходить через них строем, большими группами.

Так на охоту в тундре не ходят. Ярпы-Яг заметил, что все они зачем-то раскапывали землю и забирались в нее с каждым днем все глубже. Не ускользнуло от его острого охотничьего глаза и отсутствие среди них женщин. А без них как же? Непонятно, как думают эти люди жить дальше. Вымрут, решил Ярпы -Яг, если только не возьмут в жены девушек из тундры. Но и тогда невест всем, наверно, не хватит.

Однако они не спешили с этим обязательным делом. В то же время их огромные деревянные чумы почему-то не пустели, хотя довольно быстро за стойбищем выросло просторное кладбище, тоже обнесенное проволокой.

Как так получается, удивлялся Ярпы-Яг, что и мрут они, и не размножаются, а народу в стойбище не убывает? Удивлялся, пока однажды не увидел длинную колонну людей, идущих откуда-то с юга. Вся река, к тому времени хорошо замерзшая, была занята ими, а по бокам колонны шагали солдаты с ружьями и собаками на поводке. Ярпы -Яг так понял, что люди боялись тундры и потому шли с охраной.

Действительно — край земли. Зимой здесь стоят большие морозы, от которых все живое прячется в снег. А обувь и одежда у этих людей хуже некуда: дырявые, насквозь продуваемые ватники, лапти, резиновые чуни. А что они едят, коль не занимаются охотой? Без дичи в тундре ведь не проживешь! Ярпы-Яг — тот ловит рыбу в реке, ставит петли на куропаток...

Люди из стойбища Большой Лагерь все больше его озадачивали. Кто в землю от холода прячется? Разведи в чуме веселый огонь, подвесь котелок с пойманной дичью... Пришли бы, спросили — как не показать, не научить! Не хочешь верить Ярпы-Ягу — ступай к другим охотникам, к старикам, они недалеко тут живут, в племени Белой Куропатки.

Одно слово — чудаки. Поцепляли ружья на плечи и ходят по тундре, постреливают. Это охотой у них называется. Занятие — кому нечего делать. Известно же — петлями ловят куропаток. Слышите, люди из стойбища Большой Лагерь? Петлями! В петлях так много куропаток запутывается, что на нартах не помещаются. И ни одной испорченной, окровавленной — все чистенькие, беленькие. Приходите и посмотрите, если не верите. У Ярпы-Яга отец так охотился, дед, сам он...

И вот они пришли — трое военных с автоматическими ружьями за плечами. Ярпы -Яг очень обрадовался дорогим гостям: захотели, значит, перенять его охотничью науку ! Что ж, он с удовольствием покажет, секрета тут никакого, все просто: берешь петлю, ставишь возле березового куста, куропатки ничего не знают и кормятся почками, незаметно запутываются лапками...

— Да заткнись, ты!.. — грубо оборвал Ярпы-Яга старший из пришедших, с тремя белыми поперечными полосками на красных плечах. — Не за этим пришли!

Как, опешил Ярпы-Яг, дорогие гости пожаловали не за наукой? Они по-прежнему будут стрелять в куропаток?.. По-ихнему он не умел говорить и объяснил все это жестами и мимикой.

Позвал гостей в чум, он у него просторный, места хватит, найдется всем и поесть — вон варятся в котле куропатки. Куропаточье мясо вкусное, нежное. Слышите, какой аппетитный дух идет из чума, в ноздри шибает?..

Как ни приглашал Ярпы-Яг, в чум гости не вошли, даже не заглянули. Наверное, рассердились, что у него много куропаток, а у них ни одной. Ну, не хмурьтесь, он не жадный, вот сейчас разделит свою добычу на четыре равные кучки...

Разделил, разогнулся и сказал:

— Вот, пожалуйста, забирайте. Завтра еще столько поймаю, — и добродушно засмеялся.

— Убирайся вон со своими вшивыми куропатками! — вдруг заорал на него старший. — Зона здесь будет. Запретная зона! Понял?!

Ярпы-Яг не понял, ни что такое «зона», ни почему на него кричат. Сами будут охотиться, а чум им мешает? Но тундра вон какая большая, прямо -таки бесконечная, всем хватит в ней места и дичи.

— Дурак! Нельзя тебе тут жить — зона! — старший изобразил руками в воздухе что-то наподобие клетки. — ЗА-ПРЕТ-НАЯ ЗО-НА! Понял теперь?!

Ярпы-Яг снова не понял ничего. И за чем только они тут кричат на него? Он же сказал — пусть охотятся, тундра вон какая большая, самая быстрая птица за день ее не перелетит...

— Слышал? Зо-на!! — старший с силой пнул носком сапога куропатку. — Вон убирайся отсюда! Туда-туда! — тыкал он стволом автомата куда-то в сторону круто поднимавшихся сразу за рекой заснеженных гор.

— Не надо мне зона! — замахал Ярпы-Яг руками. — Хватит мне тундра!

Он собрал раскиданных куропаток и снова пригласил своих гостей в чум. Мяса в котле много, оно уже сварилось, надо его отведать, — так заведено у них, охотников, что гость не должен уходить голодным.

— Чтoб завтра тебя здесь уже не было! Нарты, собаки — гей-гей!

Ярпы-Яг отрицательно помотал головой: не уйдет он отсюда, это место его отца, деда, они тут охотились и умерли. Тундра всегда была свободна, и охотник в ней — тоже. Каждое живое существо жило и бегало тут, где хотело, и никто никому не мешал, всем было хорошо.

— Худой вы человек, — обиделся Ярпы-Яг.

Получилось так убедительно, что гости еще больше рассердились.

— Зона! Большой Лагерь! — слышал он у себя над головой. — Никаких куропаток! Их тоже — туд-да, туд-да! В горы!

Чудаки, право слово. Боятся, что Ярпы-Яг помешает их охоте? Завтра, если снова придут, он так и скажет: «Парни, и мне, и в вам хватит здесь дичи, даром не шумите, один только ветер по-пустому в тундре шумит».

И насчет чума толком им объяснит. Чум, известно, легкий, погрузить его на нарты и перетянуть на другое место нетрудно. Да дело не в этом. За много лет чум стал обязательной частью всего тут — и тундры, и реки, и рыбы в ней, и неба, и птиц. Как они без него? Рыба весной на нерест идет — мимо чума. Птицы летят к Студеному морю — над чумом, по нему сверяются, крыльями приветливо машут: «Жди нас, Ярпы-Яг! Скоро снова вернемся!» «Буду ждать!» — отвечает Ярпы-Яг и тоже машет, машет рукой.

Вот такие у него дела с тундрой. Зачем же «убирайся!»?

Со смешанным чувством надежды и недоверия поджидал в следующий раз Ярпы-Яг своих новых знакомых из стойбища Большой Лагерь. Чтобы стали их лица приветливыми, а голос добрым, приготовил каждому по две песцовые шкурки на шапку, и по десятку новых куропаточьих петель.

Когда, наконец, дорогие гости показались в конце тундры, Ярпы -Яг заспешил им навстречу на своих кривых коротких ногах, обутих в длинные, оленьего пыжика унты. Гости тоже, похоже, крепко по нему соскучились — шли они широким, спорым шагом, каким не ходит ни один охотник по тундре, если не захочет себя запарить и потом заболеть. Наверно, здорово проголодались и намерзлись гости — и теперь уже не откажутся от угощения. И он бросил в котел самых крупных, жирных куропаток.

Подбежал, залопотал, показывая всем своим видом, что снова рад гостям и приглашает их к себе.

— Заходите, пожалуйста. С утра жду!

Низкорослый и юркий, смешной в своем длинном оленьем одеянии, он вертелся перед тремя неумолимо надвигавшимися на чум людьми с оружием, часто и беспокойно оглядывался, словно опасался, что пройдут мимо.

— Йок, йок, — прицокивал языком.

— Ты еще не убрался? — отодвинул его старший своей прямой, как палка, рукой; он шагнул впереди своих солдат.

— Йок, йок!

— Ну, дак мы тебе сейчас поможе-ем!

К ужасу Ярпы-Яга, все трое дружно навалились на его чум, и тот затрещал, зашатался. Скоро его смяли, вырвали из земли и опрокинули, прошлись по нему ногами, а котел с отобранными жирными куропатками перевернули и залили огонь в очаге.

— Чтоб духу твоего вонючего здесь не было! — завопил старший в лицо остолебеневшему Ярпы-Ягу. — А не послушаешься и в третий раз — посадим в лагерь. Там долго не увидишь своих белых куропаток!

Впервые в своей жизни охотник Ярпы-Яг стрелял в человека из стойбища, которое называло себя племенем Большого Лагеря. Худые люди! Пришли, осквернили тундру, порушили в ней мир и согласие, погасили огонь в родном очаге. Что оставалось Ярпы -Ягу делать, как не стрелять?

Выстрела он не услышал, уж очень шумела кровь в ушах и стучало сердце в груди. Только по толчку приклада в плечо понял, что стрелял. И что осечки не было: фуражка с головы старшего из худых людей слетела не от ветра.

— Так тебе и надо, чужак! — крикнул Ярпы-Яг убитому. — Зачем пришел со злом и разбоем?!

Воспользовавшись временным замешательством среди своих преследователей, он незаметно оставил свое укрытие и забрался еще выше в горы. Теперь позиция у него была намного лучше — среди многочисленных валунов и скал, по которым Ярпы -Яг умел отлично лазать, таиться за ними и подолгу лежать неподвижно, выслеживая зверя.

На такой удобной позиции он продержится до вечера, а с наступлением ночи уйдет по ту сторону гор. Там у него жена с сыном Йоком и дочкой Рыкой, он один здесь охотился. Два раза летом приходил сюда пароход, забирал у Ярпы -Яга и других охотников песцовые шкурки и дичь, меняя их на порох, табак и огненную воду...

Преследователи между тем пришли в себя и залегли, начав дружно стрелять по Ярпы-Ягу. Они хотели вызвать его ответный огонь и, таким образом, обнаружить место, где он залег. Нашли дурака! Вот заберется еще выше, тогда и ответит, глаз у него острый, на то и охотник.

Постреляв, но так и не обнаружив Ярпы-Яга, люди внизу беспокойно засуетились, забегали туда-сюда между валунами, потом сошлись вместе, посоветовались и разделились: одна группа осталась прямо перед Ярпы-Ягом, а другая отправилась в обход по крутому косогору, чтобы отрезать ему отход на ту сторону гор.

Теперь Ярпы-Яг ответит. Патронов у него не особенно много, но до вечера хватит отстреливаться. Он быстро прицелился и опять кого-то поранил, а может, и убил, как злого старшего.

Снизу тотчас загремели многочисленные выстрелы: патронов преследователи не жалели. Внимательно взглядевшись, беглец заметил свежий, еще не растаявший дымок за голым валуном, а потом и голову — и снова быстро прицелился. За валуном кто-то погибельно вскрикнул и покатился вниз, увлекая за собой много крупных и мелких камней.

— Вон он! Во-он! — обнаружили наконец худые люди Ярпы-Яга.

Они еще больше обозлились за своих убитых приятелей, и хотя у каждого было, наверное, полно в штанах, один за другим полезли по крутой осыпи вверх, подбадривая себя криками и частой неприцельной стрельбой.

— Теперь ты от нас не уйдешь? — грозили они ему. — Мы тебя возьмем тепленького!

Сидя на голой отвесной скале, куда они, наконец, его загнали, окружив со всех сторон, Ярпы-Яг много чего передумал. Даже пришло ему на ум отбросить далеко в сторону старое надежное ружье (это был «винчестер», выменянный еще покойным отцом у побывавших здесь англичан), встать на виду у своих жестоких преследователей и сказать им: «Эй, парни из стойбища Большой Лагерь! Что это за охота — на людей? Перестаньте стрелять! Давайте протянем друг другу руки, и путь все в тундре будет как было. Согласны?»

Ярпы-Яг высунулся из-за уступа и помахал для пробы белой тряпицей, прикрепленной к стволу ружья.

Тотчас одна из пуль ударила совсем рядом с его головой, острый кусочек выщербленной скалы срикошетила и поранил Ярпы-Ягу щеку. Кровь залила ему пальцы.

Зря он забрался сюда, на скалу, на которую никому, кроме него и снежного барса, не подняться. Теперь он просил Бога Тундры, чтобы тот услышал его голос и перестал карать людей племени Белой Куропатки, а жестоких пришельцев просветил умом и смягчил добром их каменные сердца.

— Вразуми их, — шептал Ярпы-Яг, не обращая внимания на градом летевшие пули. — Пусть они идут назад, на свою землю. У них там все есть — дом, животные, земля... Чего же еще не хватает?

Ярпы-Яг не знал, чего не хватало этим людям дома, зачем они пришли к нему в тундру. Он лишь смутно догадывался, что жили они несравненно лучше, у него ведь всего богатства — ружье да свобода.

— Эй ты... козьяин тундра! — доносились к нему снизу громкие ругательства. — Мы тебя, падла, научим свободу любить! Ты у нас поохотишься!..

— Я никого не хотел убивать, — продолжал свой монолог Ярпы-Яг. — Ни тебя, старший с полосками на плечах, ни твоих приятелей. Но вы вправе спросить: на кой черт тогда я всадил несколько пуль в ваши головы? Послушайте, парни, я же вам предлагал: давайте не будем. Услышали вы? Не знаю, не уверен. Но про себя твердо скажу: я охотно и сразу отброшу хоть сейчас свое ружье. Только отбросьте и вы. Пусть ваши приятели не стреляют больше в меня...

— Крышка тебе, узкоглазый!

Приятели убитого все ближе приближались к скале, кричали все громче и угрозивей.

— Люди стойбища Большой Лагерь! Вы себе жили, а я себе, мы ничего не знали друг о друге, и всем было хорошо. Но вы пришли, и вам почему-то помешал мой маленький чум, вы его разрушили, а меня загнали на скалу, как дикого зверя. Сейчас я понял, что вы давно уже подбирались ко мне, ко всему моему племени Белой Куропатки — с каждым годом и днем. И вот я слышу ваши угрозы, вам хочется меня убить. За что? Почему вы охотитесь не на песцов, а на таких людей, как вы сами? Вон скольких уже вы поймали и лишили свободы, и даже жизни!..

Ярпы-Яг ждал ночи, он просил Бога Тундры об этом. «В темноте, — обещал он ему, — я оставлю скалу и уйду в ту сторону гор, где еще нет чужеземцев, мне туда хорошо знакома дорога. Она вон за теми круглыми гольцами. Там — перевал, а внизу озеро, я напьюсь из него воды и умоюсь, промою свои раны...»

Но дело зашло уже слишком далеко, Ярпы-Яг это сам видел и понимал. Враги совсем близко, они стояли под скалой и не намерены были ждать ночи.

И Ярпы-Яг сказал себе: «В последний раз в этот день взошло для тебя солнце и больше уже никогда не взойдет. Твои малые дети — сын Йока и дочка Рыка — останутся без отца, а жена без мужа-добытчика. Пусть птицы, которые летят над тобой, сообщат им в стойбище, что ты не опозорил племя Белой Куропатки и погиб достойно, свободным».

Сказав себе эти слова, Ярпы-Яг приготовился к смерти. Он вышагнул из углубления в скале на край выступа и бросил вниз, в кучу окруживших его врагов, ружье. Берите! Такое хорошее ружье на все стойбище было только у охотника Ярпы-Яга. Но он из него убил человека и теперь не достоин его.

Ярпы-Яг в последний раз посмотрел на свою тундру. Прощаясь с горами, он увидел, как вверх по перевалу стремительно выбежал крупный белый олень и, словно споткнувшись о камень, резко остановился, подняв гордо голову с великолепными рогами. Ярпы-Яг испугался за его жизнь и крикнул изо всей силы:

— Беги, белый олень! Беги!!

Олень сорвался с места и исчез в ущелье. Первая прицельная пуля тупо толкнула Ярпы-Яга в плечо и развернула его. Теперь он стоял лицом к своим беспощадным врагам — безоружный, открытый. Вторая и третья пуля угодили ему в грудь, и беглеца охватило чувство, будто он тоже неудержимо быстро помчался за красивым белым оленем, удивляясь тому, как все просто и хорошо, если даже это конец и его тело заберет земля, а душу небо.

«Там моя душа будет свободна, как белый олень», — подумал он.

ОДИН ДЕНЬ ОСТАПА ВИШНИ

Часто пробуждаясь от какой-то смутной, давившей сердце тревоги, зэк Губенко рывком садился на нарах и беспокойно оглядывался. Но все было как вчера, позавчера и будет завтра — наверно, еще две тыщи ночей, которые предстоит ему проваляться в этом насквозь провонявшем мочой и раздавленными клопами бараке. Зэки вповалку спали на голых досках прямо в одежде, в которой работали; над железной печкой, как всегда, сушились заскорузлые от грязи и пота портянки, кордовые чуни и шапки; у дверей стояла круглая приземистая параша, исходя острим запахом человеческих испражнений.

Закрыв глаза, Губенко снова завалился на спину. Из головы не шел только что увиденный и поднявший его сон. Привиделось, будто он оказался в каком-то таком месте, где одни дикие звери. У них нет глаз, ушей и ноздрей, но он и чувствуют свою жертву и быстро находят ее по запаху мыслей. И такое здесь условие жизни: не думай, тогда будешь жить...

Но едва он только подумал, что без мыслей человеку никак нельзя даже в лагере, на то он и человек, чтобы думать, как эти ужасные звери набросились на него со всех сторон и стали жадно пожирать...

В это время его грубо растолкал нарядчик:

— Эй, ты! Живо давай на этап!

Зэку собраться — что голому подпоясаться, все добро на нем, только подхватиться с нарами и потрусить на подогнутых ногах к лагерным воротам.

Подошел к вахте, а здесь — никого, ни одной живой души, предзонник пуст и заперт на замок. Вскоре, однако, из пропускной не спеша, вразвалку, вышел одетый по-дорожному вохр, хорошо известный всему ОЛПу сержант по кличке «Репей».

— Зэк Губенко? — окликнул он, не сходя с низенького сквозного крыльца.

— Так точно, гражданин начальник.

— Быстро: год, место рождения, статья, срок!

Губенко привычно, заученно доложил. Все было, как в формуляре, сошлось тютелька в тютельку, и они, еще затемно покинув лагпункт, зашагали — один впереди, с заложенными за спину руками, другой, с винтовкой, позади — по таежному тракту в сторону старинного коми села Чибь-Ю, бывшему в то время столицей УХТПЕЧЛАГа.

Трудно сказать, что думал зэк Губенко, что его больше всего донимало. Во всяком случае, та пуля, которая сидела в винтовочном стволе, из головы у него не выходила. Шел 38-й год, апогей репрессий! Из лагеря то и дело требовали доставить заключенных в Чибь-Ю, на расстрел... Теперь вызвали и его. Какой приказ получил Репей: доставить на место — или где-то за лагерем шлепнуть и сразу вернуться назад, успев при этом еще и на завтрак в солдатской столовке?

Оглянуться бы и посмотреть ему в глаза, прочесть в них ответ. Но нельзя оглядываться, смотри только вперед и не напрягайся спиной, а то сразу: «А ну, шагай! Я те... мать твою, быстро вставлю в затылок глаза!»

«И вставит, зараза», — знобко поеживался Губенко и не оглядывался, лишь невольно втягивал голову в плечи, когда казалось ему, что вот-вот, сию минуту, вскинет Репей винтовку и стрельнет.

Побаивался и вохр своего подконвойного. Строго держал его на положенном расстоянии, ни ближе не подпуская, ни дальше не отпуская. Еще бы: тайга, безлюдье! Зевни, и зэк сделает резкий, неожиданный рывок, прыгнет в кусты — и выстрелить не успеешь!

Так и шли, опасаясь друг друга. Велики у страха глаза! Слабое шевеление заложенных за спину рук, невольный сбой с ровного, размеренно-арестантского шага — и сразу, автоматически, ружье на изготовку, грозный окрик: «Шаг влево, шаг вправо — стреляю без предупреждения!»

Но старый лагерник Губенко шел, как по струнке. Сколько ни ищи зацепки, ни целься глазами в его коричнево-бурый, стриженный затылок — этапный режим не нарушал. Поедом ели его гнус, комары — терпел, не отмахивался.

Терпел и сержант, его тоже кровососы донимали. Может, даже больше, поскольку молодой, и кровь, значит, посвежей, повкусней. Да и не отобьешься. А накомарника не захватил, в нем трудно дышать, хуже видимость.

Все же нет-нет, да проводил он рукой по лицу, обирая обсевшее, и асосавшееся крови комарье. Но в этом случае возникала опасность не удержать винтовку в одной руке, терялась прицельность. Это его тревожило: ведь у них, эзков, одно всегда на уме — побег. А у этого тем более: догадывается, поди, зачем затребовали!

Не удивительно, что опытный сержант еще крепче сжимал ложе винтовки, еще ровнее держал ее перед собой, не спуская глаз с арестанта. Старался даже не смаргивать: сморгнешь, а его нет, сиганул в кусты, которые совсем рядом! Пали тогда в тайгу как в копеечку, кусай себе локти!..

Однако главная опасность, как вскоре выяснилось, подстерегала сержанта не здесь. Бежать Губенко не собирался, ибо не годился по складу своего характера ни в бегуны, ни в самоубийцы, ни в членовредители; знал: плетью обуха не перешибить, и боль ше смотрел себе под ноги, чтобы не споткнуться и не спровоцировать вохра. Дорога -то — не асфальт, прокладывали ее серобушлатные лагерники, которые, не разровняв ям, не раскорчевав пней, так ее и оставили. Чего на той дороге только не было, валялись даже целые человеческие скелеты.

Вот Репей, пялясь Губенко в затылок и не глядя себе под ноги, и споткнулся о череп какого-то несчастного бедолаги, чуть ружье из рук не выронил! Но самое неприятное и неожиданное — ногу повредил. Не то, чтоб уж очень больно ушиб, но что-то такое с ней случилось, что как только попробовал он встать на нее, так сразу и заорал от боли не своим голосом:

— Стой, вражина, ресторант вонючий! Бо-ольно!..

— Что у вас, гражданин начальник? — не посмел зэк оглянуться назад.

— Не видишь: охромел!

От страшной мысли о том, как он теперь дальше пойдет, да еще и заключенного на расстрел поведет, у сержанта потемнело в глазах, по лицу потекли ручейки жаркого пота. Но вохр хорошо знал свое конвойное дело и еще крепче сжал винтовку в руках.

— Ты это, смотри у меня, не тово!.. — предупредил он. — Я метко стреляю — ворошиловский стрелок! Понял?!

— Как не понять, гражданин начальник? Ухлопаешь, не доведя до места.

— То-то же! Так что — стой и не вертхайся!

— Но, может, дозволите хоть издали посмотреть на ваш у ногу? Я ведь в лекпомах при лагерной больничке ходил.

— Только шагни — пальну!

Не выпуская из рук ружья, сержант тяжело опустился на первый подвернувшийся пенек и, охая и матерясь (казалось, весь он был прежде начинен матюгами, и они теперь беспорядочно из него вылетали), стянул с поврежденной ноги сапог, разматал узкую солдатскую порятнку. Глянул и скривился: нога покраснела, распухла и горит, как в огонь ее кто сунул!

— Ладно уж, взгляни, — разрешил.

— Издали?..

— Ну, подойди.

Зэк внимательно осмотрел ногу.

— Что с ней? — не терпелось сержанту.

— Вывихнули, гражданин начальник. Надо вправить, пока не очень распухла.

— А сможешь?

— Не впервой. Смогу, если разрешите.

— Ну, раз... разрешаю.

Губенко пытливо посмотрел в глаза сержанту: не провоцирует ли, чтоб пальнуть? Вроде нет, с лица исчезло пугающее своей вохровской враждебностью выражение, оно стало лицом простого деревенского парня, которого поставили на эту службу.

— Теперь покрепче стисните зубы... Та-ак...

С этими словами Губенко неожиданно сильно потянул на себя ступню и крутнул ее вправо, потом влево. Сзади (стоял он спиной к сержанту, зажав его ногу между колен) раздался дикий, погибельный вопль, и сразу сделалось пугающе тихо, словно Репей потерял сознание.

Да так оно и было. По мертвенно-бледному, усеянному крупным потом лицу сержанта разлилась неподвижность. Губенко не на шутку испугался: «Во будет дело!» — и на всякий случай быстренько плеснул на это лицо водой из ближней лужицы. Лицо ожило, слабо порозовело. А чуть позже возвратилась и речь, такая знакомая и понятная:

— Пес смердючий! Чуть жизни не лишил! Сейчас -то хоть смогу как-нибудь иттить?

— Сможете, гражданин начальник, но только на костылях.

— Где ж я их возьму?!

— В лесу, гражданин начальник. У тебя вон топорик висит на ремешке, доверишь — живо смастерю, — по-прежнему смиренно ответил Губенко.

— Неужто? — задумался сержант.

По инструкции ему не полагалось вообще вступать в какие бы то ни было разговоры с заключенным, кроме как орать на того, угрожать стрельбой, и, словно на зайца, спускаться с поводка овчарку... А тут — то он тебе вывих вправляет, то костыли обещает сделать!

Не сразу, но отстегнул-таки Репей свой похватной острый топорик. Хотел было бросить под ноги, но передумал и подал по-человечески. Только штык, на всякий случай, все-таки выставил перед собой.

— Попробуй, мастери.

Зэк выбрал пару молоденьких тонких березок, которые стояли поближе и, похоже, очень интересовались, что здесь, на каторжном тракте, происходит. За что и заплатились, превратившись в костыли. Не ахти какие красивые и удобные подпорки получились, но надежные, на таких и за Чибь-Ю можно уйти.

Повеселел и даже подобрел загоревавший было сержант. Спросил миролюбиво:

— У тебя, я слышал, на воле была другая фамилия — писательская?

— Была. Псевдоним называется — Остап Вишня.

— Это ж как, разрешили тебе — или сам взял?

— Сам.

— Х-хты! Чудной народ вы, писатели. Сколько пересадили вас, а все пишете...

— Пишем. Я байки сочинял...

— Вот и досочинялся!

Долго молчал Репей, обдумывая, осмысливая услышанное. А тем временем под сердцем у него как-то само-собою потихоньку начало таять закаменевшее там что-то холодное, твердое — и образовалась на том месте теплая летняя лужица, которая плескалась теперь при каждом незначительном движении.

Потянуло Репя к разговору.

— Слышь, писатель? У меня ведь тоже другая фамилия. Ну, в смысле, что мне ее поменяли еще в детстве.

— А чего так? Мать за другого мужика замуж вышла?

— А вот послушай...

Раз такое дело, присел сержант на толстую еловую валежину и Губенке разрешил присесть на противоположном конце.

— Вот как было, писатель. Отец мой по тем временам был грамотный и сидел в сельсовете за секретаря. Всякие там справки выписывал, квитанции на налог, списки на раскулаченных составлял. Ну, и выдал одному нашему сельчанину бумажку. Такую бумажку, что та его от ссылки спасла. Малый я тогда еще был, не разбирался, что к чему. Ну, а в партячейке дознались — и записали отца в пособников врагов трудового народа. Мать, когда его замели, руки на себя к утру наложила — повесилась на веревке в холодном чулане. Мы, дети, трое нас у них было, мал мала меньше, и не видели того. Долго еще ждали и звали ее, чтоб печь скорей затопила, да картох нам наварила...

Репей расчувствовался, закашлялся и прервал свой рассказ. Он упрямо смотрел в одну точку перед собой, ничего там, конечно, не видя — затянуло густой серой пленкой глаза. Закуривая и шумно вздыхая, отсыпал на небольшую закрутку махорки внимательно слушавшему его Зэку.

— Я уже в школу бегал, в третий класс, — продолжил сержант, жадно затягиваясь вонючим махорочным дымом. — Вот учителька как-то мне и говорит: «Клим, говорит, чтоб и дальше тебе учиться и быть, как все в школе, нормальным советским мальчиком и человеком, обязательно надо отказаться тебе от такого плохого отца. И даже фамилию сменить. А мы про это напишем в нашей школьной стенгазете, потом дадим материал и в районную».

Резкой отмашкой Репей словно что-то решительно отсек от себя:

— Вот так! Был, значит, я Кустов, а стал Октябрьев. Вохр ДСО Клим Октябрьев. Стерегу вас, как пес, и никого не люблю и не жалею. Может, только отца. Он, как я теперь понимаю, был хороший человек. Настоящий... Эх, зря я перед тобой откровенничаю, еще в книжке опишешь!..

Зэк Губенко промолчал.

В пути их застигла ночь. Это была не та привычная темная ночь, которую знают на «большой земле» — в России. Просто на очень малое время ушло с неба солнце, в тайге погустел серый сумрак, несколько угомонился гнус, но все было кругом видно. Каждое дерево стояло теперь как бы на особицу, особенно бросались в глаза березы, они стали еще заметней — точно висячие, толстые белые нитки на непроглядно-черной заплате.

Служба есть служба, и сержант Октябрьев должен был позаботиться о запретной зоне для своего подконвойного. Порывшись недолго в карманах, Репей вытащил оттуда какой-то красный помятый лоскут и разорвал его на узкие полоски. Вручил Губенке со словами:

— Развесь на кусты вон там и там, и не переступай за них. Иначе, сам знаешь — считается побег!

Зэк Губенко, не выходя за запретные флажки, насобирав сушняка и развел небольшой дымный костерик, добавив сухого торфа, которого здесь хватало. Костерик весело потрескивал и постреливал в разные стороны красными искрами, притягивал к себе взгляд и наводил на обоих мужчин, смотревших в него, всякие, по большей части, грустные размышления.

Вглядываясь в огонь, сержант Октябрьев видел на месте подремывающего Губенки своего отца: в ту пору, когда батю взяли, он как раз был в возрасте этого уравновешенного, добродушного зэка. Репей смотрел в огонь и думал о том, что это последний его этап. Хватит уже, и так зубы заломило. Поди, и родителя вот так же хапнули — зазря. Зеленым дурачком был он, Климка Кустов — вот и отказался от отца и от своей фамилии. Одно оправдание — не сам он изнасиловал душу свою, помогли.

Костер расслаблял, успокаивал. Незаметно сержанта начало настойчиво клонить в сон, веки его отяжелели так, что не удержать. Попробовал было отогнать дрему куравом — помогло слабо, тело по-прежнему искало удобного положения, руки все слабее сжимали винтовку.

Уже почти засыпая, он смутно подумал: «А ведь красные полоски арестанта не остановят! За полосками теми — отнятая воля, на которую только мертвые не рвутся. Уйдет! А я сяду на его место!...»

Сон словно испарился. Репей быстро вытащил из-за пазухи припрятанные там наручники на прочной полуметровой цепочке (он их специально для подобного случая когда-то заказал в мехцехе на шахте) и защелкнул один «браслет» сначала на руке Губенки, потом на своей.

Так они и заснули рядом, вохр и зэк, скованные одной цепью. У ног их слабел, догорал без подкормки костер, и ничто не нарушало их тяжкий сон. Выглянула было серая полевая мышка из-под трухлявого пня, да испуганно юркнула обратно в норку и больше не показывалась.

Когда они разом, как по команде, проснулись, где-то далеко в тайге гуляло солнце, тоже еще заспанное, опухшее, полуслепое и продрогшее за ночь.

Надо было идти дальше. Но едва Октябрьев, забывшись, стал на вывихнутую ступню, так сразу снова и сел.

Перед Губенко сидел и тихо постанывал озадаченный, растерянный человек, совсем непохожий на того вчерашнего, самоуверенного, вышагнувшего из пропускной вахты сержанта. В расширенных глазах Репья застыло выражение подавленности и какой-то обреченности. Дергалась левая, рассеченная старым шрамом бровь, он машинально проводил по ней пальцами, придерживал. Бровь на время затихала, но стоило отнять руку, как снова начинала дергаться, плясать.

Камнем на шее у Климки висела винтовка. Как ты ее ни поправляй, ни перекидывай с одного плеча на другое — все равно мешает. А тут еще комары начали звереть, не отбиться от них, не увернуться.

Незаметно росло, копилось в груди Репья раздражение на все сразу: на чертову винтовку, на сволочного комвзвода, что занарядил его, не найдя кого другого, да и на этого жилистого, спокойно шагающего впереди писателя, который наверняка уверен, что ведут его в Чибь-Ю на расстрел.

Это была, пожалуй, самая трудная минута за всю более-менее успешную вохровскую службу сержанта Климки Октябрьева. Ему требовалось прямо сейчас, на этом каторжном тракте преодолеть в себе и решительно сломить что-то прочное и стойкое, выработанное годами бездумно-верной службы — какую-то высокую, глухую стену.

Встретились они с писателем глазами, точно на дуэли.

И сказал зэк Губенко сержанту Октябрьеву:

— Идти нам еще да идти, а бежать я не собираюсь. Так, может, облегчу теб я — понесу винтовку твою?

— Да ты... ты что-о?!

Но сердце Климово, вопреки всему — инструкции, комвзводу, замполиту — упорно подсказывало: «Доверься, никакой он не враг. И на отца чем -то похож даже. Глазами, что ли? Точно — глазами, такими же светлыми и печальными. Ну, доверься!»

И сержант Октябрьев, чуть поколебавшись еще, медленно стянул с обвисшего плеча отяжелевшую винтовку и протянул ее зэку со словами:

— Хорошо, неси.

Ни тот, ни другой не ведали, что на этот раз обойдет зэка Губенко смерть, что сужде но ему прожить в лагере, пусть и тяжело, с мучениями, до самого 1942 года — а там судьба и вовсе глянет на Остапа Вишню улыбочиво.

Не знали они и о том, что ждет вскоре сержанта Клима Октябрьева...

Но это уже совсем другая история.

ПАМЯТЬ

17 августа 2001 года в ярославском поселке Борисоглебский скончался поэт Константин Васильев. В этом году ему исполнилось бы 50 лет.



Константин
Васильев

Ну, отзовитесь!

* * *

Как встану, усталый со сна,
как выгляну за порог —
сентябрь, зеленеет сосна,
желтеет за нею дубок.

И черное стадо коров,
и черная стая грачей...
О бледные отблески слов,
отчаянно-черных ночей!

Как почва тепла и светла!
Как холодно в наших краях!
Как ветер над краем села
свистит и гудит в проводах!

Константин Владимирович Васильев родился в 1955 году в поселке Борисоглебский Ярославской области. Рос без отца, мать работала корректором в районной газете. После школы поступил учиться в Ярославский педагогический институт имени К.Ушинского, на биолого-географический факультет; в студенческие годы занимался орнитологией, опубликовал несколько научных работ и брошюр. После окончания вуза работал учителем в сельских школах Костромской и Ярославской областей, служил в армии. Вернувшись в Борисоглеб, работал топографом в институте «Мос гипроводхоз», а затем в пожарной части родного поселка.

С конца 70-х гг. прошлого века публиковал стихи — в областной прессе, коллективных сборниках, журналах «Сельская молодежь», «Литературная учеба», «Русь». В 1993-1996 годах был редактором отдела критики в издававшейся в Ярославле литературной газете «Очарованный странник». Опубликовал в областных газетах около 70 критических статей, эссе, рецензий, литературоведческих работ.

В 1990 году в Верхне-Волжском книжном издательстве вышла в свет первая книга стихотворений К.Васильева «На круговом пути потерь». В 1992-1994 гг. в Москве были опубликованы его новые сборники — «Границы слова», «Узелочек на память», «Земные сны». В последующие годы в Борисоглебе и Рыбинске увидели свет около десятка малотиражных (от 50 до 200 экз.) сборников стихов поэта. В 2003 году в ярославском издательстве «Нюанс» вышла книга избранных стихотворений и эссе К. Васильева.

В 2001 году скончался. Похоронен в поселке Борисоглебском.

* * *

Скажи напрямик, не таи,
тебе не по нраву, я знаю,
и грешные песни мои,
и мысли, и слава дурная.

Но что я поделывать могу...
Меняться — не слишком ли поздно?
Тебе я хотя бы не лгу,
хотя и живу несерьезно.

Зато я серьезно — влюблен...
Тебе же и этого мало!
Да, кончился сказочный сон,
и он не начнется сначала.

И все же — куда ни беги —
ты вспомнишь мои песнопенья
и в злые мгновенья тоски
и в радостные мгновенья...

* * *

Я соколом в небе ширяю,
земную свободу любя.
Я с миром сравняться желаю,
но главное — помнить тебя.

Желаю, развеяв тревоги,
тянуть свою звездную нить
земной, одинокой дороги...
Но главное — не разлюбить.

* * *

Галине Поморцевой

Сирень отцвела. На полянах теперь
фиалка цветет и калган.
И мы никаких не считаем потерь,
нам хватит вот этих полян.

И синих стрекоз, голубых мотыльков
здесь много над гладью пруда.
И здесь я с тобою остаться готов,
стоять, как земная вода.

Да надо домой: скоро вечер уже.
Идем же, родная, идем.
У нас остается все это в душе,
и мы остаемся — вдвоем.

* * *

Ты меня не спасай:
ни к чему и некстати.
Молча сяду на край
одинокой кровати.

Выпью рюмку вина,
раскурю свою трубку.
Оставайся одна:
я не склонен к поступку.

Я тебе не смогу
дать ни капельки счастья.
Не подумай, что лгу,
выражая бесстрашие.

Я тебя не хочу.
Все, что было, — забыто.
Я тебя не учу —
и меня не учи ты!

* * *

Земляничная поляна
и ручей,
и ложится мне под ноги
тень сосны...
Ты выходишь из тумана
тех ночей,
замирая на пороге
тишины.

И внезапно птичьи песни
раздались,
и куда-то запропала
тишина...
Улыбнись, еще чудесней
улыбнись,
мне всегда во тьме сияла
ты одна.

Ты одна на фоне сосен
и времен,
между нами только нити
паутин...
Я спокоен, я серьезен,
Я влюблен...
Стоит лишь глаза открыть, и —
я один.

* * *

О выраженье твоего лица:
в нем полностью отсутствует сомненье,
а глаз твоих сиянье и горенье
есть ловля человеков на живца.

Меня ты принимала за слепца —
но ты сама впадала в ослепленье.
Мне нечего на вечной делать сцене,
я не паяц перед лицом Творца!

И этим отличаюсь от тебя я...
Но на тебя — могу смотреть играя:
ты прочитай в глазах моих пустых

признание, — грош цена ему, а все же
мои слова дороже слов твоих,
мои гроши твоих рублей дороже.

* * *

Весь день по стеклам катится вода
осенняя, живая, дождевая,
просачиваясь в комнатку, сюда,
и на пол с подоконника стекая.

Ну что поделать! Хижине моей
не выдержать осеннего напора.
Земля плывет — не надо ей морей.
Душа поет — не надо ей простора.

Я вижу корни яблони: они
из почвы вымываются, всплывают.
Темнеет. Загораются огни.
Вороны каркают, собаки лают.

А дождь — еще сильнее, еще плотней.
Какое наважденье! — наводнение,
и прервано течение летних дней,
и я плыву — не против ли течения?

Влечение — да. Иду к тебе, туда,
куда и не найти земной дороги...
Бросается навстречу мне вода,
но в почву глубоко уходят ноги.

* * *

Меня напрасно ты зовешь
за правду драться,
ведь не настолько ж я хорош,
чтоб отозваться.

Пусть правит армия пройдох
моей эпохой,
но не настолько же я плох,
чтоб стать пройдохой.

Что многим можно — мне нельзя,
останусь сирым.
— Беритесь за руки, друзья,
боритесь с миром!

Ни в грязь не лезу, ни в князья:
калач я тертый.
— Беритесь за руки, друзья,
катитесь к черту!

* * *

На великой войне идеала
с бездуховными силами зла,
нечисть мира тебя не сломала —
все испробовала, не смогла.

Но и ты победителем не был.
Поле боя — куда ни взгляни.
И повсюду — сиреневый пепел
и кровавые пятна одни.

Силы добрые действуют розно,
кое-как, выбиваясь из сил...
Что же смотришь ты победоносно,
если все еще не победил?

* * *

Свободное дыханье вопреки
неслыханному гнету беззаконья...
Когда толпа сжимает кулаки —
синичку принимаю на ладонь я.

Пусть прыгает, не ведая забот,
пусть скроется в кустах чертополоха,
пусть, как всегда, свободно запоем...
Мне эта птичка ближе, чем эпоха.

* * *

Когда-то, я помню, была глубока,
но нынче совсем обмелела река.
Глазами свободно достану до дна —
какая-то мелочь живая видна:
планктон и моллюски, жуки и мальки.
И некуда плыть по течению реки.

* * *

Мне даже и проклятые вопросы
Не помешают преспокойно спать.
Конечно, мир пошире, чем кровать.
Звезда, возможно, стоит папиросы.

Однако просыпаюсь, — и опять
вокруг — впустую крутятся колеса,
на глиняных ногах стоят колоссы,
которым полагалось бы лежать...

А тот, кто сотворил себе кумира,
предерзко нападает на меня.
Но я давным-давно вернулся с пира.

Мне не слышна пустая болтовня,
меня не беспокоит честь мундира:
моя душа — надежная броня.

* * *

Желто-зеленая чаша акации...
Чтоб заблудиться мне! Чтоб потеряться!
Лечь на траву, провалиться в себя,
Все позабыв, ни о чем не скорбя...

Летнее время, важнейшее действие —
птичьи заботы, птенцов ротозейство,
пчел и шмелей над цветами возня...
Как хорошо, что не видят меня!

Только одна и осталась-то малость —
чтобы и ты где-то здесь потерялась,
чтоб на траву опустилась и ты...
Мир не прорвется сквозь эти кусты.

Здесь-то весь мир нас оставит в покое.
Будем лишь в небо смотреть голубое,
то есть, конечно, друг другу в глаза.
Вечность? — зачем! Но прошу полчаса...

СОНЕТ

Меж ними все рождало споры...

А. С. Пушкин

Когда меж нами все рождает споры —
тогда пиши пропало. Лучший друг,
мы спорить стали даже из-за вьюг,
пронзающих российские просторы.
Но как с тобой мы далеки до ссоры!
Слух наострился, стал чистейшим — звук.
Душевный покидает нас недуг,
спадают с глаз невидимые шоры.
И разговоры наши — в тишине
согласно льются. Ты живешь во мне,
а я в тебе. Нам лишнего не нужно.
Над нами Солнце, звезды, небо, — Бог.
Пред нами — грезят сосны у дорог,
меж нами — затихает ветер вьюжный.

* * *

Жарит солнце. Высыхают лужи,
только что сиявшие, как стекла.
Высыхают, но гораздо хуже —
это то, что горло пересохло.

Тихий ужас! — все ключи иссякли,
вся свобода провалилась с треском!
Впрочем, хорошо, что нет ни капли:
так или иначе, выпить не с кем.

* * *

Какие пропадают времена,
какие погибают здесь актеры!
Но все-таки еще пылают взоры,
в бокалах есть немножечко вина.

Однако, если жизнь на разговоры
потрачена, то чья же в том вина?
Такие вот делишки, старина,
и мы с тобой — непойманные воры.

Что ж, мы хотя б своим умом дошли,
что все от жизни взяли — и прожгли.
Последний акт осталось доиграть нам.

Не пей вина, на дне бокала яд!
Но жесты наши мало говорят
желающим бессмертья нашим братьям.

* * *

Утро. Трава в росе.
Падаю на траву.
Разве не так, как все,
я на земле живу?

Видимо, да, — не так.
Но все равно — пускай.
Вот — под рукой — овраг, —
может быть, жизни край.

Может, уже пора
в эту шагнуть дыру...
Лучше всего — с утра, —
утро, а я умру.

Я поднимаюсь — нет:
держит трава меня,
стебли бегут на свет,
листьев блестит броня.

Нежно коснулся губ
легонький иван-чай...
Корни уходят вглубь.
Отодвигают край.

Правде смотрю в глаза —
море живых цветов.
Солнце. Трава. Роса.
В каждой росинке — кровь.

* * *

Когда кровавые князя
исправно красный суд вершили,
тогда я пел; мои друзья
меня услышать не спешили.

Куда вела меня стезя?
Какие раскрывались дали?
Я шел и пел — мои друзья
иных путей и песен ждали.

И вот премудрость мира вся:
на свет я только-только вылез —
и сразу вы меня, друзья,
похоронить заторопились.

* * *

Шаги по мостовой...
Передо мной возник
согбенный и смурной
таинственный старик.
Черты его лица —
от них бросает в дрожь!
Как на меня, юнца,
он все-таки похож!
Кривая трость в руке,
в кривой руке дрожит,
слезинка по щеке
пергаментной бежит...
И вылинявший плед,
и рваный воротник...
Меж нами сотни лет!
Меж нами только миг!

* * *

Нерасторжима цепь мгновений.
Но память воспроизвела
Лишь те — особенные — звенья,
В которых жизнью жизнь была.

Отрадные воспоминанья...
Но, может, в жизни мне нужней
космические расстоянья
провалов памяти моей.

* * *

Вокруг борисоглебских стен
и я гуляю, как
мертвецки пьяный Поль Верлен, —
из кабака в кабак.

И дождевая льется с крыш
холодная вода.
И даже спяну мне Париж
не снится никогда.

Тепло и сухо в кабаке.
Бутылка на столе.
Огонь в глазах, стакан в руке,
и прошлое в земле.

А на земле — мертвецки пьян,
бредет вдоль этих стен,
держа в руке пустой стакан,
мой братец Поль Верлен.

* * *

Бряцает оружие — лиры молчат,
томясь в ожидании мира.
И брань площадная, и пламя, и гад,
и где моя верная лира?

Давно я не весел, давно я не юн,
давно я не гибну красиво.
Давно мои пальцы не чувствуют струн
и уши не ловят мотива.

Но только от пушек своих отойдут
оглохшие канониры.
Как сразу раздастся — и всюду, и тут —
бряцанье растоптанной лиры...

* * *

Глубокая осень, и ночь холодна,
и ветер всю ночь напролет
шумит и поет, — и во мне тишина
всю ночь и шумит, и поет...

Смогу ли ночную тоску превозмочь?
Дождусь ли когда-нибудь — дня?
Молчит и поет бесконечная ночь
и, может быть, слышит меня.

Пою, чтоб молчать, и молчу, чтобы петь,
и это навечно во мне.
Кончается ночь; но безмолвью и впредь
звенеть в громовой тишине!

* * *

Замедлив шаг, сквозь строй чертополоха
протискиваюсь, хоть не слеп, не глух —
слабее стали зрение и слух,
короче путь от выдоха до вздоха.

Но не могу сказать, что дело плохо:
растет и крепнет мой незримый дух,
и в небесах чертополоший пух —
не то, что прахом ставшая эпоха.

Для жизни ничего важнее нет,
чем строгое сокрытие примет
дыханья, возрастанья и движенья.

И мне милей недвижных горних звезд
земные обреченные растенья,
упорный продолжающие рост.

* * *

Осень явилась сразу.
В парках — поверх оград
клены, березы, вязы
светятся и горят.

Синее небо чисто.
Надо ли ждать невзгод?
Волны птичьего свиста.
Массовый перелет.

Я провожаю взглядом
осень, и летних птиц...
Шаркая по оврадам,
падают листья ниц,

И покрывают тучи
синюю неба гладь...
Песне моей летучей
некуда улетать.

* * *

Когда мои пустые дни —
а их полным-полно! —
летят, как звездные огни
и падают на дно;

когда вечерняя — опять
горит моя заря, —
я начинаю понимать,
что жизнь дана не зря.

Что не напрасен в сердце лед
и камни на пути.
Что кто-нибудь меня спасет
и даст себя спасти.

Что хоть какой-то есть улов
в морях словесной мглы.
Что в темноте ночных часов
слова мои светлы.

Что к новому восходят дню
и тьма моя, и тишь...
Но ничего не сохраняю —
и ты не сохранишь.

* * *

В ночной, глухой, пустой моей душе
огонь воспоминания сияет,
блуждает, убывает, исчезает...
И где он есть? — не знаю сам уже.

Всю ночь, всю ночь стою настороже —
на страже: пусть сознание засыпает.
Пусть в снежном, выюжном, белом мятеже
душа быстрее тела замерзает.

На рубеже души моей и тьмы
горит огонь. На рубеже зимы.
Лишь сделай шаг — и ты, душа, спасешься.

Нет! Гаснет в снежном саване огонь,
и спит моя душа. Но только тронь,
но только тронь ее — и ты проснешься.

ПОКРОВ

Снежная музыка, светлая, нежная,
белое поле во мгле...
И развернулось пространство безбрежное
здесь, на малютке-земле.

Ясные буквы Кирилла-Мефодия
душу зовут в небеса,
и проливается с неба мелодия,
и не слышны голоса.

Слово сердечное песнею выльется
светлой навстречу зиме,
и бесконечна святая кириллица
звезд и снежинок во тьме.

* * *

Стою нетвердо на земле сырой,
на ледяной, на огненной, на черной.
Другие пусть пускают в землю корни
и прочной покрываются корой.
Я не хочу. О нет, я не герой,
в огне — конечно, не огнеупорный,
в воде — плывущий хуже, чем топор мой,
среди людей — не первый, не второй...
Последний самый! — говорю я вам,
что все друг друга мы понять могли бы,
так почему же мы молчим, как рыбы?
Так почему же мы — под стать рабам —
так рассуждаем: «Живы — и спасибо,
а мир — пускай себя спасает сам»?

* * *

Холодно, темно,
сяду у окна,
посмотрю в окно —
темнота одна.

Срезаны края
солнечной земли.
Темнота, а я
прозреваю ли?

Холод входит в дом,
не спросясь меня.
Как и за окном,
в доме нет огня.

Черное стекло.
Время истекло.
Что же мне светло,
что же мне тепло?

* * *

Сегодня многих душит гнев,
но, злобу дня преодолев,
страдаю молча. Лишь порою,
стихи читая нараспев,
себе тем самым яму рою.

Кому нужны мои слова?
Толпа, ты, как всегда, права,
когда святым пылаешь гневом.
Ты эшафот и ты топор.
Но сам суровый приговор
я выношу своим напевам.

И под ударом топора
слова, упавшие с пера,
уступят место черным дырам.
Покинуть мир пришла пора
и мне, явившемуся с миром.

Ведь я всего лишь звук пустой...
Права последней правотой,
толпа себя же втопчет в землю.
Да ладно, Бог нам всем судья...
Из личного небытия
я сам ничьим словам не внемлю.

* * *

Вы из комнат меня хоть гоните взащей —
не отвечу ничем и никак.
Чтобы сделаться другом летучих мышей,
обживу полусветлый чердак.

Для меня и такое — в порядке вещей.
Ну а ежели пуст сеновал,
буду другом обычных, подпольных мышей,
обживу полутемный подвал

* * *

Небесное мерцанье ада,
но я и на земле — в аду, —
в моем бокале капля яда,
она похожа на звезду.

В моем дому и печь не топят,
и свет не зажигают в нем.
Что делать мне? —
бокал мой допит
и на столе стоит вверх дном.

А за окном стихает вьюга
и цепенеет зимний сад,
и молча звезды сходят с круга -
но до земли не долетят.

Да и меня вотще уносит
земная тяга в небеса:
душа спасения не просит,
не видят ангелов глаза.

Голосовые связки рвутся,
и через силу дышит грудь —
в моем саду нельзя проснуться,
в моем аду нельзя уснуть.

* * *

Мне претят словеса о свободе.
Мне противны витии вон те,
что всерьез говорят при народе
о вчерашней своей слепоте.
Зренье нам не дано ль от рожденья?
Так молчи, говорливый урод!
Чтоб ты сдохло, мое поколение!
Чтоб ты сдохло от этих свобод!

* * *

Какой самец тебя заманит
в полуразрушенный сарай?
Какой подлец тебя завалит
и заорет: «А ну давай!»

Да что: противники насилий,
жрецы, певцы известных мест,
мы это делаем с Россией —
и на глазах своих невест!

* * *

В Борисоглебе, в сентябре
горит кленовая листва
и догорает на костре
небес холодных синева.

И купола крестами вниз
сияют в зеркале воды...
Но камень — бел, но голубь — сиз,
но к небу тянутся кресты.

И сквозь наплывы тишины
туманным утром, на заре,
иные звуки мне слышны
в Борисоглебе, в сентябре.

* * *

Так хотелось повеселиться,
на печали закрыть глаза...
Ведь поет за окошком птица,
поднимается в небеса.

И цветут за окошком вишни.
Мой зеленый, мой белый сад,
ты печали мои простишь мне,
я и сам-то себе не рад.

Ночь, и звезды горят над садом,
над цветами — звезда к звезде.
Моя радость, ты где-то рядом,
где-то здесь, но не знаю, где.

И рассвет. Золотые пчелы
золотой собирают мед...
Кто там ходит, такой веселый,
пританцовывает, поет?

* * *

Между нами и нет ничего,
и не надо читать между строчек:
ты мне ближе меня самого —
я покусывал твой локоточек...

ПАДАЛЬ (Из Шарля Бодлера)

Под жарким летним солнцем, у дороги
в канаве — лошадь дохлая одна.
Бесстыдно, широко раскинув ноги,
вверх животом валяется она.

Живот раздулся, лопнул; и во чреве
скопился гной, — распространился смрад.
И жирные прожорливые черви
на спутанных кишках кишмя кишат.

И синей тучей мухи облепили
мясную массу, липкую, как мед...
И вороны уже сложили крылья,
и в спешке ворон ворона клюет.

И тощая паршивая сучонка
момента ждет, чтобы урвать кусок, —
какую-то вонючую печенку,
какой-то безобразный позвонок.

Живые существа и мертвечина.
И этот копошащийся клубок —
как целый мир, в котором все едино,
который в малой малости глубок.

И вы, красавица, увиденному — рады ль?
Теперь-то вы узнали, что вас ждет?
Вы точно так же превратитесь в падаль,
раздуется и лопнет — ваш живот.

Что станет с кожей светлей атласа,
с волной волос, сиянием очей?
Все обернется смрадной грудой мяса,
костей и грязи на пиру червей!

Необратимо будет разложение,
и ваш с землею будет смешан прах,
а ваша красота — без измененья —
останется в одних моих стихах!

* * *

Как тень еловых лап легла,
прозрачна и легка!
И всюду песни зяблика,
овсянки и конька.

И под навесом зелени
так молод я сейчас...
Для птиц когда-то пели мы,
теперь они для нас.

И я стою и слушаю.
И я с тобой стою.
Тебе я песню лучшую
когда-нибудь спою.

* * *

Золотая — отчалила осень,
зачастили над миром дожди...
Почему-то я очень серьезен:
потому ли, что жизнь впереди?
Ну а ты — пожимаешь плечами:
— Безразлично, куда мы идем, —
и прокалываешь каблуками
листья, вбитые в землю дождем.

* * *

Не только русских ледяных равнин
люблю я белый цвет и очертанья.
Желанье странствий. Радость расставанья.
Надолго еду. Далеко. Один.

Увидеть море, горы, свет Афин
и в римские разрушенные бани
сойти, освободиться от руин,
увидеть мира облик самый ранний.

Язычником я не умею стать,
но эта красота, и тишь, и гладь,
и мощь, себя познавшая не сразу, —

все это мне родной земли родней...
Так погружаю в греческую вазу
я северную розу без корней.

* * *

Лютый мороз опять —
градусов тридцать пять...

Я у себя — в тепле —
печку топлю прилежно...

А против ветра — кто
в тонком идет пальто
по ледяной земле?

...Это не я ли — прежний?

* * *

Среди тысячи пожарищ
ты в своей золе пошаришь -
может, что-нибудь найдешь:
фляжку, пряжку, кружку, ложку,
да жены сгоревшей брошку, —
только бровью поведешь.

И пойдешь, слегка сутулясь,
по какой-нибудь из улиц,
сам не зная, по какой,
но очнешься. Есть захочешь,
зарыдаешь, захохочешь
и запросишься домой.

Отравиться? Застрелиться?
Утопиться? Удавиться? —
Боже мой, какая чушь!
Ты надумаешь жениться...
Дым клубится... Женщин лица:
«Муж сгорел. Мне нужен муж...»

* * *

Вы, милые признаки красного лета:
Цветущие вишни, сплошные дожди,
холодные ночи... и девочка эта,
которая встретилась мне на пути, —
все кончено. Осень моя золотая
идет и уходит и тает во мгле.
Какая тоска! Даже девочка злая
другую дорогу нашла на земле.

* * *

В колодце не замерзает
вода, —
и не видит солнца.
Живая и ледяная,
святая вода колодца.

В корявые бревна сруба
устало плечо упрется,
потянутся
жадно,
грубо
к водице сухие губы...

Но досыта кто напьется —
тот первый плюет в колодцы.

* * *

Я устал? Да ничуть не бывало!
Я усталости знать не могу.
Впрочем, время мое не настало:
время ждет не героя — слугу.

Наше время — со мною несродно.
Низких истин постыдная тьма
и дышать помешает свободно,
и сведет незаметно с ума.

Но держусь я и выдержу, ибо
так и принято жить на Руси.
Тьма земная! Спасибо, спасибо!
Свет небесный! Спасибо, спаси...

* * *

О, если б сердце камнем быть могло!
Тогда бы мне, наверно, полегчало.
Тогда бы я и начал все сначала,
не различая, где добро, где зло.

Но сердце бьется, сердцу тяжело.
Не рановато ли оно устало?
Нет: испытать ему пришлось немало,
и все, что было, — вовсе не прошло.

Скопилась в сердце боль, как ни верти.
И жизнь оно должно перенести —
там, где бы оставалось, вероятно,

от камня только мокрое пятно!
А сердце бьется... нет, не зря оно
испытано на прочность многократно.

* * *

Среди дорог, среди холмов —
один, как витязь.
Зову — откликнитесь на зов!
Ну, отзовитесь!
Но воздух — словно решето,
но крик — в прореху, —
не отзывается никто,
и даже эхо...

* * *

Пускай от нашенских надежд
летят клочки по закоулкам —
я и не жалуюсь; но где ж
пустой мой звук в пространстве гулком?

Пустой мой звук в пустом краю
живет без отзыва, без эха.
Я молча, стало быть, пою —
не зная слез, не зная смеха.

Пустой мой звук самим собой
до неприличья переполнен.
Спою я на мотив любой —
и столь певуч я, сколь безмолвен.

Летят во тьму, летят на свет
мои безвестные романсы —
да я и радуюсь, что нет
и быть не может резонанса.

* * *

Всю жизнь писать сонеты о любви...
Как быть? — я посвящал их первой встречной,
серьезно говоря о страсти вечной...
И ты меня как хочешь назови.

Непостоянство у меня в крови,
а это значит — я не бессердечный.
Но жизнь проходит — что могу сберечь в ней?
Уходит все, — душою не криви.

Я мало жил, но много раз влюблялся,
и каждый раз я думал — навсегда.
И каждый раз безбожно ошибался!

Но все равно — и это не беда,
ведь я ни от чего не отрекался
и не смогу отречься никогда.

* * *

Вот молния, как буква ЗЕТ, —
и никакого света нет,

и долго ждешь — и сразу, вдруг
мир весь перетекает в звук,

и трудно замирает гром...
И зарево за тем бугром!

* * *

Мое тому порукой имя,
что буду я самим собой.
Намерениями благими
не искушай меня. Не пой
мне эту песенку, не надо:
мне хватит собственного яда,
я осушаю — свой бокал!

Но для чего тебя я звал,
но для чего к тебе стремился?
Ну да, конечно, — я упал.
Упал — но насмерть не разбился.

И над самим собой — встаю.
И в час всемирного разлада
свою я песню пропою —
свою! Чужого мне не надо.

* * *

Я выпил алкоголь свой —
последнее вино.
Бесплатных удовольствий
мне больше не дано.

Тяжелое похмелье
легко ли перенести,
когда дороже зелье,
чем жизнь, любовь и честь?

Но я-то выпил больше,
чем было мне дано,
и все ж — не алкоголь же
тянул меня на дно!

Да сколь ни разглагольствуй,
признаньям грош цена:
я пил не алкоголь свой —
судьбу свою до дна.

* * *

Горбушки нет на ужин,
гроша в кармане нет.
Я никому не нужен —
я подлинный поэт.

Меня глазами смерть ты,
веселый гробовщик, —
в лицо голодной смерти
я сам смотреть привык!

* * *

Среди миров, в мерцании светил...
Анненский

Хлеб и вода. Щепотка табака,
щепотка чая — это просто роскошь.
Спокойно улыбаясь сквозь века,
на личный отвечаю я вопрос ваш.

Все хорошо. Все так и быть должно.
Всему есть время, место, оправданье.
Как хорошо, когда вокруг темно —
ведь темнота есть света ожиданье.

Как хорошо, когда темно в душе!
Последняя сияет сигарета,
И вы поверьте: я давно уже
не вижу тьмы. Душа болит от света.

* * *

Хотя б сейчас душою не криви:
надежды и мечты — все было мнимо.
Ты не исправишь мир неисправимый
он захлебнется в собственной крови.

Да брось ты все и нехотя живи.
И дни, и годы пусть проходят мимо.
Никем на этом свете не любимый,
не трать ни на кого своей любви.

Убей ее — сознанием заглуши, —
ведь нет во всей Вселенной той души,
которая была б любви достойна,

которая могла б любить сама...
Живи самым собою — ты довольно
уже хлебнул вселенского дерьма.

* * *

Молодыми были мы
когда-то.
Молодыми были мы
вчера.
Осень!
Ты ни в чем не виновата,
попросту —
пришла твоя пора.

Осень!
Ты для нас — не зло,
не благо.
Ты — пришла.
В том нашей нет вины.
Наш подъем — не кончился.
Однако
падать,
падать,
падать
мы должны.

* * *

О жизни что могу сказать своей? —
что состоит она из репетиций,
ведь на лице написано — плебей,
а скорчу рожу — истинный патриций!

О, сколько было смеха, сколько слез,
и меда сколько выпито, и яда!
Вся жизнь — игра,
и только смерть — всерьез, -
ее и репетировать не надо.

* * *

Я — искорка живая мятежа,
но мне не быть причиной пожара.
Стеной окружена моя душа,
мою дорогу тьма перебежала.
И вот — с самим собой наедине —
и в зеркале пустое видя место, —
пишу я угольками на стене
слова любви, надежды и протеста.
Вот кто такой я — проклятый поэт,
мечтатель, толкователь, прорицатель.
И этих строк единственный читатель —
я сам. Других и не было — и нет.

* * *

Жизнь опять потеряла смысл,
став прозрачною, как стекло.
С рожи грим я слезами смыл.
Вместе с гримом лицо сошло.

Маска смерти — белым-бела —
черный-черный сокрыла лик...
И безмолвные зеркала
предо мной — испускают крик!

* * *

Дрожат древесные листы.
Дрожат пред первым и последним
преодоленьем высоты.
И я готов смотреть вослед им.

Один-единственный полет
перед сияньем с почвой плотной...
Что ж, и меня земля зовет —
но скоро ль кончится полет мой?

Я падал в жизни много раз,
и боковым я видел зреньем,
как вслед за мной листва неслась,
уже отмеченная тленьем...

* * *

Бесперспективны шум и ярость,
бесперспективна тишина.
Я прожил молодость и старость.
Я понял: им одна цена.

Я сам себе давно противен:
в душе позор, неправда, мгла.
Бегу на свет, встаю под ливень —
но не отмоюсь добела.

Слова убиты и забыты,
и где же новые возьму?
Но предъявлять свои обиды
не собираюсь никому.

Измучен долею земною,
я тем утешен, может быть,
что все, обиженные мною,
не захотят меня простить.

* * *

Поздняя осень
и чувства осенние.
Солнечных сосен
холодное пение.

Сосны зеленые,
кроны высокие.
Слушаю стоны я,
ведаю сроки я.

Все уже было
и все еще сбудется.
Тьма подступила,
а музыка крутится,

вечно вращается,
вечно печалится,
вечно прощается
и возвращается.

* * *

Разорванные надвое
тетрадные листы...
Скажи, какого снадобья
хотел отведать ты?

Меняются понятия...
Добро на грани зла.
Ты слышишь ли проклятия?
Они и есть — хвала!

Ты был испытан холодом,
но холод тот — забыт.
Ты был испытан голодом —
теперь ты вечно сыт.

Когда-то ты сутулился,
тебя жалели все...
Теперь — идешь по улице
во всей своей красе!

Но надвое расколота
сияющая твердь...
Казалось, это — молодость,
а оказалось — смерть.

* * *

Кончилось бабье лето,
осень берет измором,
и недалеко где-то
каркает черный ворон.

Черные прутья вишен,
листья ржавее жести.
...Голос мой будет слышен
лет, я не знаю, двести.

* * *

Сергею Щербакову

Мы уходим, а мир остается...
Вот и синяя капля звезды
остается в глубоком колодце
на поверхности темной воды.

Ну, а в небе лишь место пустое
над глубоким колодцем земным...
Заглянул потихоньку в него я —
и как будто поднялся над ним.

Но ведь небо далеко-далеко,
но ведь в небе одна пустота.
А в колодце звезда одинока —
путеводная наша звезда.

Пусть лежат на пути моем камни:
я тот камешек смог отыскать,
на который открыла глаза мне
высшей жизни земная печать.

Очень скоро мой гроб заколотят,
взгромоздят и надгробье — гранит,
но я камешек бросил в колодец:
он еще до звезды долетит!

**Куда вела меня стезя?
Какие раскрывались дали?**

(фотографии Константина Васильева из домашнего архива И.Г. Васильева)



**В школьные годы.
Начало 60-х.**



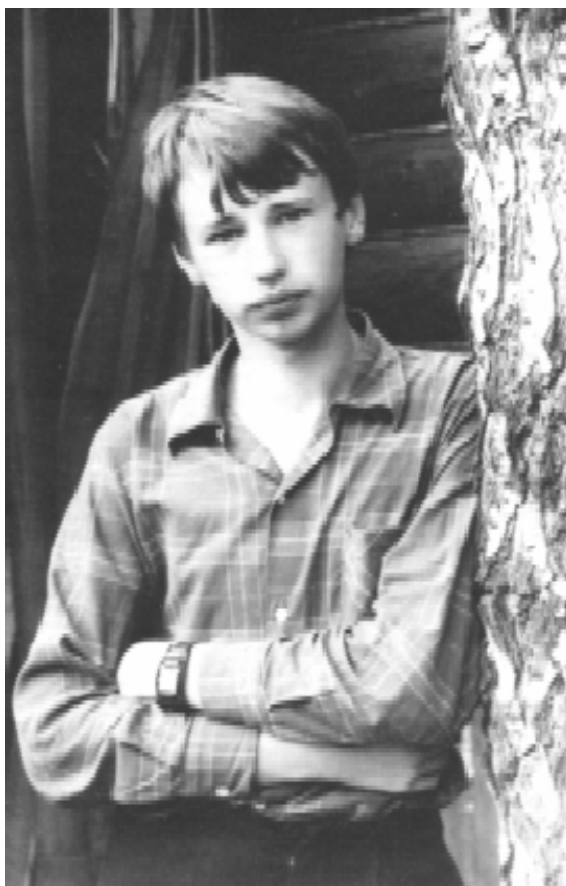
**С дядей, Геннадием Ильичем Васильевым.
Ярославль, середина 70-х.**



С братом Ильей. 1966 г.



Начало 70-х.



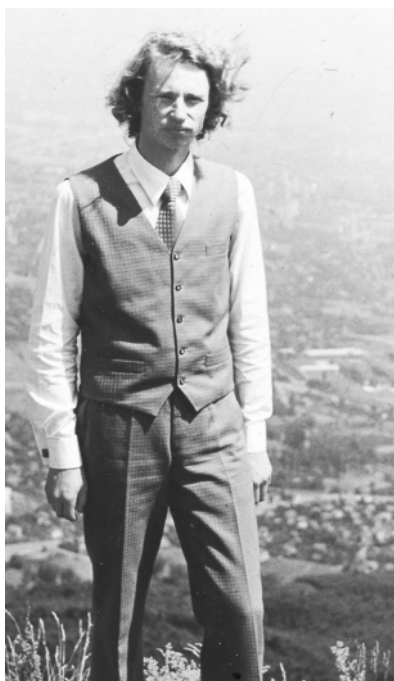
В родных краях. Лето 1975 года.

**Куда вела меня стезя?
Какие раскрывались дали?**

(фотографии Константина Васильева из домашнего архива И.Г. Васильева)



**Группа студентов биолого-географического факультета
Ярославского педагогического института им. К.Д.Ушинского. 1977 г.
Крайний слева во втором ряду — Константин Васильев.**



**Болгария. На горе Витоша
возле Софии. 1976 г.**



**Борисоглеб,
середина 80-х.**

Илья Васильев

МОЙ БРАТ, МОЙ ДРУГ

Мне было лет десять, когда Костя повел меня в лес, чтобы отыскать гнездовье сокола - пустельги, обнаруженное им в нескольких километрах от нашего поселка. Предупредив, что путь будет нелегким, он с увлечением стал рассказывать мне о том, как накануне целых три недели потратил на выслеживание примерного местонахождения этого гнезда...и вот теперь, наконец-то, мы с ним можем своими глазами увидеть это чудо — гнездо настоящего сокола.

Он шел рядом со мной, длинный, немножко нескладный — и, сверкая синими глазами и размахивая, по обыкновению, руками, воодушевленно говорил о соколе и его гнезде. Не поддаваться обаянию брата было невозможно, да и разница в возрасте сказывалась (Косте тогда было уже около пятнадцати) — и я, конечно, быстро впал в то же восторженное состояние, в каком пребывал и он.

Скоро, однако, начались те самые трудности, о которых он меня предупреждал: торфяные болота, топкие поляны, ямы, наполненные водой... я и не представлял, что наш поход будет не просто трудным, а воистину страшным. Но отступать уже было некуда, да и брат упрямо шел вперед, подбадривая меня.

То по пояс, то по самое горло проваливаясь в грязную воду, иногда пускаясь вплавь, мы двигались вперед. Вот, наконец, и то место, куда мы с тремялись — сухой островок земли с чахлыми, тонкими деревцами посередине. Страшно уставший, я повалился было наземь, чтобы отдохнуть — но тут же вскочил: никакой земли под ногами не было. Это была какая-то пародия на землю, что-то мокрое, зыбкое, противное... Да это не сухой остров, а то же самое болото!

Пока я бродил по острову в поисках местечка для отдыха, Костя ушел отыскивать гнездо. Его скитания оказались успешнее моих: вскоре я услышал полный торжества крик брата:

— Нашел!.. вот оно!..

Я поспешил увидеть то чудо, ради которого мы пришли сюда за несколько километров. Да, гнездо сокола и, похоже, обитаемое.

Вполне довольные собой и жизнью, мы тронулись в обратный путь, который уже не казался мне таким тяжелым. Наверное, дело было в том, что цель была дос тигнута.

Вспоминая теперь этот эпизод, я вижу в нем некий прообраз Костиной жизни, его пути по болотистым тропам судьбы. Путь этот был также непрост, даже тяжек — но преодолевал его мой двоюродный брат с тем же увлечением, с той же очарованностью, с какой искал в то далекое лето гнездо сокола. И даже цель его жизни была чем -то похожа на то чудо, к которому мы стремились.

Целью этой была поэзия.

Верится, что наступит время, когда огромный архив поэта Константина Васильева будет упорядочен и исследован, когда специалисты вынесут квалифицированное суждение о различных периодах его биографии — и бытовой, и творческой. Я же, на правах родственника, могу сегодня только поделиться некоторыми своими непосредственными впечатлениями от общения с этой личностью — удивительной и неповторимой.

То, что Костя — человек нестандартный, мне стало ясно довольно поздно, да это и понятно: лицом к лицу — лица не увидеть, большое видится на расстоянии. Пожалуй, только после того, как я увидел его стихи напечатанными в нашей районной газете, я осознал, что брат мой — человек особенный. Тем же, кто был понаблюдательней, это, наверняка, открылось давно, еще в наши детские годы. Ведь даже игры у нас с Костей были другие, не те, что у соседских мальчишек: в их руках были палки, а в наших — деревянные шпаги, из их карманов торчали рогатки, а мы были «вооружены» луками и арбалетами. Мы с ним, конечно, как и все дети, играли в футбол, купались — но все же значительную часть времени проводили за другими занятиями. Целым и часами, к примеру, пропадали в лесу, наблюдая за птицами — а потом по памяти рисовали увиденное.

Еще будучи ребенком, Костя начал писать статьи о птицах — и уже тогда его заметил один очень известный ученый-орнитолог. Началась переписка, продолжавшаяся долгие годы — а маленькие Костины заметки о пичужках переросли в большие научные статьи с таблицами, публиковавшиеся в научных журналах (причем фотографии и рисунки всегда были выполнены самим автором).

Другие его детские занятия не переросли в профессию, но сложилась жизнь моего брата иначе — он, как мне кажется, мог бы стать и художником (до сих пор помню, как он изобразил красками на холсте своего любимого сокола), и спортсменом. Ведь не зря в футбольных схватках ему неоднократно доверяли защищать ворота и спортивную честь и нашего родного Борисоглеба, и педагогического института, где он учился. Владел мячом он виртуозно, но при первой же возможности обязательно назначал себя вратарем — и как же он в эти часы преображался: весь натянут, как пружина, глаза блестят...

Очень характерно его объяснение этой «страсти к воротам». Я и сейчас помню, как на мой удивленный вопрос, почему в игре он стремится попасть именно туда, Костя ответил, что футбол — игра коллективная, командная, и что полевым игроком может, при желании, и не играть в полную силу, побережись, спрятаться за спинами своих партнеров. Вратарь же — совсем иное дело, прятаться ему некуда, с соперником он всегда один на один, и помочь ему выстоять могут только его талант и мастерство. В этом объяснении — весь Костя.

Конечно, огромную роль в его жизни играли книги, чтение. Именно от него я впервые узнал о Ричарде Львиное сердце, об отчаянном Робин Гуде, об Александре Невском и Дмитрии Донском. Подаренные братом книги становились любимыми книгами моего детства: это были «Незнайка на Луне», «Волшебник изумрудного города», «Айвенго»...да всего не перечислить. Ясно, что много читающий человек когда-то должен был и сам взять в руки перо — но для меня, подростка, настоящим откровением стал факт публикации стихов моего брата.

Это произошло, кажется, в 1976 году. По обыкновению, я зашел к Косте в общежитие, мы начали о чем-то говорить — и вдруг, очень смущаясь, он подал мне какую-то газету небольшого формата. Я глянул на газетный лист, на столбик стихов, в глаза бросилась знакомая фамилия.

— Вот, брат, это мои стихи, — ответил Костя на мой недоуменный взгляд.

Я, конечно, помнил и его статьи по орнитологии, и заметки о футболе...но еще и стихи?

Еще больше смутившись, пряча глаза, брат терпеливо объяснил, что автор опубликованных стихов — именно он, что это его первая публикация в районной газете «Новое время».

— Как же это могло случиться? — наконец-то, поверив ему, воскликнул я. — Почему же я ничего не знал о твоих стихах?

— А об этом вообще никто не знал, это была моя тайна, — с удовлетворением и как-то очень спокойно ответил Костя. — Я давно пишу, а теперь, после этой публикации, смысла таиться больше нет. Эта публикация — первая, но я думаю — не последняя...

Сев напротив меня, брат завел разговор о поэзии и о своей главной любви — Михаиле Лермонтове. Мгновенно воодушевившись, цитируя наизусть любимые строки, он повествовал о жизни своего кумира — и, казалось, проживал в этот момент всю эту жизнь. Не находя себе места, мечась по комнатке, брат жестикулировал, щеки его пламенили, глаза горели неистовым огнем...и мне показалось, что передо мной не мой родственник, борисоглебский паренек Костя Васильев, а какой-то странствующий проповедник, безумный монах...А может быть, выступающий на митинге революционер? Нет, это — фехтовальщик, и в руках его — острый клинок, которым он пытается кого-то защитить. Да так и есть, ведь он рассказывает о судьбе Лермонтова и именно его пытается защитить, на его врагов напасть. Он открывает мне тайны жизни великого поэта, он нападает на его убийцу Мартынова, он говорит, что Лермонтова неправильно преподают в школах...

Тем же вечером, придя домой, я нашел на полке томик Лермонтова — и с головой погрузился в чтение. А утром, не ощущая усталости после бессонной ночи, ехал на работу, трепетно прижимая к себе маленькую книжечку с потрепанными корками, сборник стихов Лермонтова. Этот сборничек стал первой после школьной скамьи, сознательно и с любовью прочитанной книгой — первой, открывшей мне горизонты в необъятном океане литературы.

«Спасибо тебе, брат, — счастливо повторял я, глядя из окна ползущего по Ярославлю троллейбуса и не замечая ничего вокруг, — спасибо тебе, мой друг!..»

Эту благодарность к Косте я испытываю и сейчас, когда его талант уже всеми признан, когда на «Васильевские чтения» в Борисоглеб съезжаются поэты, когда ученые-филологи выступают с докладами о творчестве Константина Васильева. Многих и многих читателей будут уводить в мир поэзии его стихи, его книги, — но для меня он навсегда останется еще

и просто братом, тем самым пареньком, с которым мы когда-то в детстве преодолевали торфяное болото под Борисоглебом, приближаясь к гнезду сокола.

По-разному складываются жизненные пути, каждый из нас проходит свой путь по земле. Свой путь, очень короткий, прошел и Костя. Жалею я сейчас только об одном: любя и уважая брата, восхищаясь его талантом, наслаждаясь нашим общением, в реальной жизни я слишком редко находил возможность встретиться с ним. О, люди, люди!.. когда же мы научимся ценить то, что дает нам судьба? когда станем уважать и любить друг друга еще при жизни?

Прости меня, брат. Даже я смог по-настоящему рассмотреть, понять, оценить тебя лишь после того, как ты ушел из жизни. С большим опозданием говорю я эти слова.

Но я должен их произнести.

Прости, брат.

Надежда Кускова

Тебе открылся дух мой пленный...

Поэт должен быть маргиналом, — так утверждал Константин Васильев, по свидетельству знавших его людей. Мнение, как и всякое другое, не бесспорное. Но бесспорно интересное. Потому что, с одной стороны, говорит о целности натуры поэта, а с другой — о его убеждении, что писать хорошие стихи может только свободный человек. Только вот можно ли, поставив себя вне общества, остаться свободным человеком?

Большую часть своей жизни Васильев прожил в Борисоглебе. Здесь он, на кос огоре, под боком соснового бора, и похоронен. На его могиле — памятник: обтесанный волнами дикий гранит, к которому прикреплена мраморная табличка — даты жизни и смерти. Никакой другой, самый изысканный монумент, не мог бы быть здесь более на месте.

Пятьдесят лет со дня рождения друга, родные и почитатели поэзии Васильева отмечали без него. Я была на этом вечере, где читали стихи, пели много песен, вспоминали. С Константином я при жизни не была знакома. Но первые же его стихи, попавшие мне в руки, произвели неизгладимое впечатление. Это были во многом мои чувства, мои переживания, верно угаданные, высказанные, обретшие форму.

Творчество Васильева ждет своего дотошного исследователя. Мне же в этих заметках хочется уяснить: может ли поэт, зажатый в рамки пров. инциального городка и нищеты, на которую он себя сознательно обрек, ощущать себя свободным хоть в какой -то мере?

Мне нечем, да и незачем гордиться.
Поймали душу вольную мою!
Крылатая, и певчая, и птица —
хотя и задыхаюсь, но пою.

Уж такова ты, участь очевидца...
В моем родном краю, лесном раю
приходится в железной клетке биться...
Дано раздолье только воронью!

Уж куда ясней отвечает поэт на вопрос. О своей несвободе, о своей зажатости в прокрустово ложе быта и бытия пишет Константин Васильев и во многих других стихах.

А мир земных ристалищ, -
я в нем не умечаюсь,
но надо мною — сеть...
Что делать? — песню петь...

Или еще:

Будет снег — пойду по снегу
Через это поле.
Вдалеке качнется небо.
Небо...небо...воля...

В Борисоглебе создан музей-квартира Константина Васильева. Музеем очень трудно, как было трудно и поэту при жизни. В письме от 26 марта 1999 года в Мышкин к

Николаю Смирнову, с которым Васильев вел многолетнюю переписку, он говорит: «Давно я хотел — и собирался тебе написать. И, как всегда, не мог. Конверты, бумага и прочие мелочи зачастую недоступны, просвета не было».

Но о переписке двух поэтов, точнее, о переписке в стихах, я скажу позднее. А сейчас — о музее. Вещей здесь немного. Кровать, стол, много картин, подаренных друзьями - художниками. Посетители здесь сегодня не так уж часты — творчество поэта еще идет к своему читателю. И поэтому, соответственно, мало денежных поступлений, нет средств, чтобы отремонтировать веранду, на которой Константин летом писал свои яркие, музыкальные стихи.

Директор музея Галина Ивановна Поморцева многое делает для того, чтобы в музее все было так, как при жизни поэта, чтобы о Константине Васильеве знали не только в узких литературных и библиотечных кругах. Но, увы, для того, чтобы хранить память, тоже нужен презренный металл. И для того, чтобы привести в порядок архив, насчитывающий не менее шести тысяч стихотворений, опубликовать их — тоже. Не лишней была бы поддержка и из департамента культуры, в том числе и информационная. Но сейчас, к сожалению, больше на слуху коммерческие проекты: музеи водки, духов и т.п. Поэты и при жизни, и после смерти остаются нищими.

Отсутствие денег — это тоже несвобода. Но, конечно же, не о ней писал Васильев в стихотворном послании Николаю Смирнову, называя свой дух «пленным»:

Тебе протягиваю руку
через поля, через леса.
И звук летит навстречу звуку,
и вновь глаза глядят в глаза.

Пусть я вне твоей Вселенной,
пусть ты вне моей, мой друг, —
тебе открылся дух мой пленный,
открылся мне твой вольный дух.

И что сказать про расстояние?
Живя во времени одном,
когда шумит непониманье —
друг друга молча мы пойдем.

И сквозь года летит планета
по самой страшной из орбит —
поэт всегда поймет поэта...
всегда поймет, всегда простит.

Николай Смирнов на это ответил тоже стихотворным посланием. Адресованное Васильеву, оно — о судьбе поэта в глухом провинциальном городе, который в восприятии автора разрастается до размера «Вселенной».

БЕСЫ

Константину Васильеву

Я свой век доживаю со страхом
В слободе, уже смешанной с прахом,
Сторожу огород у сарайки одной,
Словно пес с человеческой головой,
Да присматриваю за вонючим ручьем
На бугре себе место для вечных хором.
А как новь — так трясется сарайка —
Это едет опять таратайка,
Стародавняя колымага
Со своею музыкой и светом:
Злые дудочки петельки выводят
И развешивают их по нашим закоулкам —
Красный, как петух, правит,
Серый, как волк, смотрит,
А третий — он не правит и не смотрит,
Он лицом безглазым все слышит —
Только видеть мою душу не может.
И перекликаются на соснах вороны:
— Это едут бесы на Москву править!

Такие разные по мироощущению авторы. Но...поэт всегда поймет поэта.

Поэтическую школу Васильев проходил не у постмодернистов, в большинстве своем холодных, филологических эквилибристов. Об отношении к ним поэт высказывается однозначно. Вот отрывок из письма Николаю Смирнову от 8 сентября 1999 года: «Современную журнальную прозу, признаться, я почти не читаю — как «не пошла» она у меня, так и не идет. Не впечатляет и не интересует. Да и стихи в столичных журналах какие-то кособокие, чтобы не сказать больше, когда автор выпендривается, а выпендриваются почти все».

Его исследования, эссе, а их он написал немало, частью опубликованы в провинциальной литературной газете «Очарованный странник», выходившей в девяностые годы в Ярославле. Эти произведения Васильева — о поэтах серебряного века. Несомненно, близко ему было и творчество Андрея Белого, у которого пригоршнями черпали находки и современники, и последующие поколения поэтов.

Кстати, Марина Цветаева, рассказывая о своих встречах с Андреем Белым, называет его «пленным духом». Вот — о вечерне-ночной поездке в Шарлоттенбург: «Думаю, что в этой поездке я увидела Белого в его основной стихии: полете, в родной и страшной его стихии — пустых пространствах, потому и руку взяла, чтоб еще удержать на земле. Рядом со мной сидел пленный дух».

Известно, что берлинский период жизни Белого был очень трудным, одиноким, безытным. В эти годы он много пил, удивляя знакомых и незнакомых эксцентричными выходками. В воспоминаниях Цветаевой о нем — просто-таки материнская жалость, сочувствие, желание взять за руку, удержать...

Но можно ли удержать поэта? У Константина Васильева было много друзей — но взять за руку, удержать возле себя пленный дух не смог никто.

В самые сокровенные минуты своей жизни человек бывает одинок. По-эт — тем более. В стихотворении, посвященном своему другу, московскому прозаику Сергею Щербакову, ведется, как мне думается, продолжение давнего спора:

Остаться с нищими на паперти,
или хоть что-нибудь иметь?
Есть черный хлеб на белой скатерти,
в кувшине — мед, в кармане — медь.

Привычки нет к благополучию!
Пойду по миру — жалок, слеп,
как туча тянется за тучею...
Но будет день и будет хлеб.

Но будет ночь — возможность отдыха
у одинокого костра.
За облаком проходит облако —
и мне отправиться пора.

Идущему дорогой нищею,
мне очень многое дано.
И я готов явиться пищею
червям — и звездам заодно.

Стихи Васильева лиричны и очень мелодичны. Не случайно на его родине, в Борисоглебе, многие из них положены на музыку и стали песнями. Именно это качество поэзии ценил и Андрей Белый. Предваряя сборник «После разлуки» своим вступлением, он утверждал основные тезисы «мелодизма». Приведу два из них: лирическое стихотворение — песня, поэт носит в себе мелодии: он — композитор. Некоторые свои стихи Белый предлагал петь под гитару.

Под гитару и без гитары поют стихи Константина Васильева. Мелодией стиха он гармонизирует наш распадающийся, тяжелый, давящий несвободой мир. Мир, который поэт, несмотря ни на что, временами ощущал прекрасным.

г. Мышкин.



Владимир Рябой

Райские яблоки

Плывут по реке Карасевке яблоки.

— Смотри, — яблоки! — восклицает обворожительная Людмила, — как они сюда попали?

— Ничего странного, — отвечает серьезный и стеснительный Сергей, — там, выше по течению, на берегу растет яблоня и плоды падают прямо в воду.

— Ну-ка, держи меня покрепче!

Она протягивает ему руку, а другую опускает в воду (именно таких рук, наверное, и недостает Венере Милосской). Сергей берет ее, но не за кисть, а за локоть и, когда она наклоняется к воде, близко-близко от него, ловит ноздрями пьянящий запах ее тела, смешанный с запахом духов.

— Ой, — разочарованно произносит Люда, — какие они маленькие... Но такие красивенькие, красненькие. Наверно, вкусные?

— Лучше не пробуй. Это «райка», райские яблоки. Они пресные.

— Райские яблоки?

— Они невкусные... как айва. Зато варенье — класс!

— Варенье из райских яблок? Лучше уж вино из одуванчиков! Смешные люди. Варенье из райских яблок... у нас в Донецке я и не слышала про такой сорт.

Владимир Иванович Рябой родился в 1953 году в г. Южно-Сахалинске, восемнадцать лет прожил вместе с родителями в Крыму. В 1972 году окончил Бахчисарайский строительный техникум, затем служил в армии. Некоторое время жил и работал в Ташкенте.

В 1975 году переехал на постоянное место жительства в г. Рыбинск, на родину матери. Работал на приборостроительном и судостроительном заводах инженером по строительству, технике безопасности, журналистом, был художественным руководителем Дома культуры «Вымпел».

Сотрудничал и работал в штате нескольких ярославских областных газет, редактировал рыбинские издания: газету «Согласие», журнал «Околица». Как журналист публиковался в ряде столичных изданий — журнале «Огонек», в «Новой газете», газете «Мир новостей».

Литературным творчеством занимается всю сознательную жизнь. Большая часть написанного не опубликована, однако, некоторые произведения печатались в журналах «Невский альманах», «Студенческий меридиан», «Русь».

Автор-составитель книги «Имена на обелиске «Мемориала», соавтор книги «Нобели для России, Россия для Нобелей». Литературный сценарий В. Рябого «Именем чужой любви» лег в основу кинокартины, снятой на одной из студий «Мосфильма».

Живет в Рыбинске.

Она надкусывает яблоко и морщится.

— Невкусные... на-ка, кусни и ты, пусть и тебе будет невкусно!

Они сидят на берегу неширокой реки, сплошь покрытом зарослями шиповника, дерна, дикой вишни. В этом месте Карасевка делает замысловатый поворот, огибая дома на западной окраине деревни, и уходит в сторону. Течение реки здесь замедляется, но шум воды, ударяющийся в невысокий берег, заглушает и пение птиц, и голоса молодых людей.

День жаркий, но прохлада, идущая от воды, от увлажненного берега, действует на Сергея и Людмилу умиротворяюще. Они сидят в тени деревьев, на густой траве, еще не потерявшей своей свежести в эту пору позднего крымского лета.

Он смотрит на нее сбоку, словно осторожный тушканчик, готовый мгновенно спрятаться в свою нору.

— Ну, и как? Красивая — или так себе? — вдруг говорит она, не поворачивая своей точеной головки.

— Да-а-а... — отвечает он заворуженно.

— Что да? Так себе?

— Не-е-ет... — мямлит он.

Она вскакивает на ноги, раскручивает фуэте и с места в карьер начинает танцевать какой-то бешеный и непонятный танец — то ли канкан, то ли танец живота. Аккомпанирует себе голосом на мотив «чардаша»: «па -па-па!..», нисколько не смущаясь тем, что плиссированная юбка ее при каждом движении взлетает вверх, обнажая сильные, полные икры и белые узкие трусики.

— А тело у меня красивое?

— Да, — соглашается он. Голос его звучит все тише и глуше.

— Ага! — торжествует она и резко останавливается, даже не запыхавшись. Смотрит на него, улыбаясь, сверху вниз, расставив ноги, и уперев руки в бока. Так, наверное, взирала амазонка на своего поверженного врага.

В глазах ее пляшут озорные чертики.

— Между прочим, там, у нас в городе, в техникуме есть танцевальный ансамбль. Когда я поступила и стала заниматься, меня сразу же солисткой сделали. Думали: а как назвать ансамбль? И назвали моим именем!

— Людмила?

— Дурачок! «Ивушка»! От фамилии моей — Ивченко.

— А-а-а...

— Между прочим, меня очень уважают в Донецке. И парни уважают. Никто даже притронуться ко мне не может без моего согласия. Я, например, на речку всегда хожу с парнями. Все с себя сбрасываю при них. Они — мои сторожевые псы. Аа..ав! Загрызут любого, кто просто посмотрит в мою сторону ...

Она опять садится на траву и опускает ноги в воду. И вдруг вся ее восторженность сползает в речку и захлебывается в тихих водах.

— Скучно у вас тут, в деревне! А еще райские яблоки выращиваете... Где же он, твой рай? И ты такой скучный... Хоть бы рассказал о себе, что ли. Сколько тебе лет?

— Ну, шестнадцать. А что?

— Да так, ничего. А мне уже семнадцать! Я для тебя старая уже.

— Я бы не сказал. Ты такая... ты никогда... У нас в деревне таких еще не было.

— Ух, ты, смотри-ка! Разговорился...

Она задумывается на секунду и ее губы, полные, сочные, сворачиваются в трубочку.

— Ты вот что, ну-ка, отвернись-ка — я позагораю. В мою сторону не смотри, а смотри по сторонам, чтобы никто не подглядывал. Если что — подай знак голосом, типа «гав-гав!»

Она отходит в сторону, на солнечную полянку, снимает кофточку, лифчик, и ложится в траву.

Сергей, повернув голову до боли в шейных позвонках, отходит через кусты к яблоневоому саду и там с усердием разглядывает ближайшие окрестности.

Через некоторое время он слышит ее голос, напевающий какую-то популярную итальянскую мелодию. Песня обрывается.

— Эй! Где ты там?

— Я? Я здесь...

— Иди-ка сюда!

Он идет на ее голос, как верный сторожевой пес.

Она все так же лежит, обнаженная по пояс, на спине, нога на ногу, и нервно кусает своими белыми зубками травинку.

За три шага до нее он останавливается и отводит взгляд.

— Ну, ты что, глупенький? Иди поближе. Не стану я тебя совращать, маменькин сынок — не бойся. Сядь рядом! Ты не переживай: если я при тебе разделась — значит, я тебе доверяю. Тебе может довериться молодая беззащитная девушка, а? Сможешь ее защитить, если придется?

— Наверное... я не пробовал.

— С ума с тобой сойдешь, разговорчивый ты мой.

Она лежит на траве, разомлевшая и полусонная от жары, вся словно сотканная из пьяных одуванчиков. Смотрит на него лукавым, испытывающим взглядом.

— Ну ладно, рыцарь мой деревенский. Мы сами сотворим свой рай. Говорят, у вас тут недалеко есть плотина старая, заброшенная. Говорят — там красиво... и очень страшно, если прийти туда ночью. Там водяные и русалки водятся, а?

— Да треплутся о том наши бабы...

— Давай завтра вечером туда ходим, вдвоем? Ты и я. Ну, что молчишь? Не хочешь?

— Нет, чего ж. Пойдем.

— Ты такой вежливый, потому что я приезжая, или потому что я тебе нравлюсь? Ну -ка, говори.

— Не надо со мной так разговаривать. Просто я к тебе серьезно отношусь.

Она хохочет.

— Ну, не обижайся. Я тебе верю. Это я от вашей погоды немного свихнулась. А может — от яблок твоих райских. Ладно, в знак полного моего расположения к тебе можешь поцеловать меня вот сюда.

Она указывает пальчиком на свои губы.

Сергей видит на ее нижней губе капельку крови. Секунду он медлит, но тут ее рука пригибает его голову, и он ощущает на своих губах сладкий вкус ее крови. По его телу, откуда-то снизу, от паха — и до самых кончиков волос пробегает судорога, болезненная, словно электрический разряд.

Она испуганно толкает его в грудь и вскакивает на ноги.

— Ты что, сдурел? Теперь ты — мой кровный брат. И ты не должен меня хотеть. Тебе понятно? И чтобы больше я не видела у тебя этого вздувшегося бугра... Договорились? Завтра купишь две бутылки шампанского и возьмешь с собой покрывало. Все, проводи меня до дома...

На следующий день, когда солнце уже клонится к закату, Сергей дожидается Людмилу на восточной окраине села. Она идет неторопливо, то и дело останавливаясь, поправляя я волосы, оглядываясь по сторонам, здороваясь и заговаривая с местными жителями.

На ней — шелковый халат, весь в драконах и диковинных птицах. На ногах легкие сандалии, в руках пакет. Ладная, красивая, то вкрадчивая, то шаловливо-забавная, она привлекает внимание каждого встречного.

Вскоре они уже идут вместе. Сегодня она как-то по-особому задумчива и рассеянна. Но вдруг взрывается:

— Ну, что ты опять молчишь? Может, ты двойку в школе получил? Господи ж, мой божечка, ну! Это что за яблоки?

— Это? Кандиль...

Она протягивает руку с указующим перстом в сторону деревьев, мимо которых они проходят.

— А это?

— Это синап... Скажи, зачем, — это розмарин, — я тебе нужен? Чего тебе от меня нужно? Ты тогда, на танцах, могла найти другого парня, постарше, посимпатичней. Это груша. Это слива персиковая.

— Персиковая? А ты мне понравился. Сары-синап? Такой стройный, длинноногий, да еще и блондин. Розмарин? Интересно. А еще мне про тебя сказали, — она касается губами мочки его уха и прыскает от смеха, — что ты единственный девственник в деревне. Ха-ха-ха!.. Ну, не обижайся, шучу я.

Они идут между деревьями совхозного сада. Солнце, большое и ласковое, гаснет, скатываясь к горизонту, легкий ветер ерошит верхушки деревьев. Стрекотанье кузнечиков нарастает, сливаясь в хор. Снизу, от разогретой дневным солнцем земли поднимается тепло.

Людмила останавливается, сбрасывает сандалии и шлепает по пыльной дороге босиком. Сергей делает то же самое.

Наконец, впереди перед ними вырастают огромные раскидистые липы и тополя. Это плотина.

В неярком свете закатного солнца окружающая старую плотину природа кажется принявшей какой-то декоративный вид. Шелковичные деревья, яблоневый сад, густая трава среди деревьев, все вокруг будто сделано из одного материала, одними руками — руками гениального мастера-декоратора. Деревянная плотина, построенная в незапамятные времена для орошения совхозных угодий, обветшала, осела, заросла орешником, ежевикой, дерном. Бетонный скат, предназначенный для плавного сброса воды от верх-него бьефа к нижнему, покрыт густым мхом. По всей поверхности реки пробегает время от времени легкая дрожь. То там, то здесь всплеснет вода, зашумит, заговорит на своем языке.

По ветхому мосточку они переходят на другой берег.

— Ух, ты, смотри-ка... Это не наши ли яблочки приплыли сюда?

Сергей тоже видит прижавшуюся к деревянным шлюзам плотины россыпь райских яблок.

Людмила наклоняется к воде и одним движением руки выхватывает несколько плодов.

— А! Вот и наше яблочко, надкушенное! Не хочешь доесть?

Она оглядывается вокруг.

— Действительно — здесь, как в раю. Вот сейчас из-за той яблони выйдет Ева...

— Здесь давно уже никто не ходит. А хочешь, — вдруг говорит Сергей, — я тебе фокус покажу?

— Не смертельный?

— Идем.

Он берет ее за руку и ведет за собой по берегу, к нижнему бьефу.

— Только тихо, а то мы всех распугаем. Смотри, там — внизу...

Она видит бетонный скат, поросший изумрудным мхом, по которому тонкой пленкой стекают прозрачные воды реки. Вдруг снизу на бетон выпрыгивает небольшая рыбешка и, поднимая фонтаны брызг, продвигается вверх по бетонному склону. Потом, обессилев, скатывается вниз. Вслед за ней тут же целая рыба стая выбрасывается на бетонную поверхность, словно на скат с размаху бросили пригоршню серебряных сверкающих монет...

Людмила с восторгом наблюдает.

— Глупые рыбешки, — замечает Сергей, — чего им дома не сидится?

— Ты не понимаешь! Это же инстинкт жизни и продолжения рода, как у людей. Просто ты еще молоденький и многого не понимаешь!

— Мы сюда часто ходим — катаемся, купаемся, загораем...

— Я тоже хочу туда, к рыбкам. Только давай сначала ты, погреешь воду.

Он раздевается до плавок, спускается у шлюзов на бетонный скат и, отпустив руки, катится стоя по скользкой поверхности. За шаг до обрыва ныряет в воду головой вниз, распугивая рыбок.

— Ура, ура! — кричит девушка. — Стой и жди меня там, только я снизу поднимусь.

— Осторожно, тут скользко.

Она входит в воду у нижнего бьефа. Он с испугом видит, что она абсолютно голая. В этом вечернем, меркнушем свете так хорошо видны незагоревшие части ее тела. Она забирается на бетонное основание, держась за стену, делает несколько шагов. Поскользнувшись, падает и с визгом скатывается вниз.

— Помоги мне, что ты там стоишь, как истукан? Только ничего не трогай у меня своими мокрыми руками!

Накупавшись вволю, они выбирают наверх и ложатся — она на покрывало, он на траву рядом.

— Поддай-ка мне там махровое полотенце из пакета. И открой шампанское. Что-то я продрогла.

Он послушно исполняет указание.

— У нас не из чего пить, — озадаченно бормочет Сергей.

— Эх ты, растяпа. Я же говорила — купи шампанское и возьми посуду с собой.

— Нет, ты этого не говорила.

— Не спорь — говорила.

— Не говорила.

— Ладно, может, это даже к лучшему. Это господь нам посылает испытание. Мы будем пить шампанское, как пили его в раю Адам и Ева. Ты знаешь, как они его пили?

— А разве в раю было шампанское?

— Конечно, что это за рай, если там чего-нибудь не хватает, тем более — шампанского. Ты что-нибудь слыхал про рай и ад?

— Да я, вообще-то, и про Адама с Евой ничего не знаю...

— Ну, а я знаю. Неси сюда бутылку. — Она откидывает в сторону полотенце, стягивает живот и указывает пальцем на образовавшуюся воронку:

— Наливай.

— Чего?

— Наливай, говорю!

— Куда?

— Сюда, на пупок. Сколько войдет, и сколько сохранится — это твое счастье. Если я вдруг рассмеюсь, или потеряю сознание — счастья тебе не видать.

Он дрожащей рукой льет шампанское на ее живот.

— А теперь пей!

— Я? Я лучше из горла...

— Я кому говорю!..

Он, помешкав, наклоняется и стягивает в себя искристый напиток. Она закрывает глаза. Тело ее подрагивает — то ли от вечерней прохлады, то ли от возбуждения.

— А теперь, — говорит Людмила, — ложись на спину. Сними плавки! Снимай, снимай, мы же в раю! Я же говорю: это испытание!

Она выливает ему на живот чуть ли не полбутылки, а потом спокойно погружает в дрожащее озерцо свои губы, касаясь его тела. Но не успевает сделать несколько глотков, как он что-то кричит и вскакивает на ноги. Прикрываясь руками, отбегает в сторону.

— Ты вообще... Какие-то дурацкие игры... Кто это придумал... такие игры? — говорит он, дрожа всем телом и закрываясь покрывалом.

— Я не знаю, — беспечно отвечает Люда, — наверное, гусары. А ты молодец, стойкий оловянный солдатик... Знаешь, как-то мы давали концерт для работников Днепрогэса. Там

такой балкон на огромной высоте, широкие перила. Вниз глянеш ь — высота! Голова кружится. Мы танцуем, танцуем, музыка звучит. И вдруг я, неожиданно для самой себя, забираюсь на эти перила и продолжаю вести партию соло. Все ахают, кто -то из зрителей со стула падает. Кричат: «Снимите ее!». Я говорю тогда одному: «Ну, давай попробуй». Он испугался. Ох, и досталось же мне тогда... А я просто люблю острые ощущения. Когда опасность проходит — жизнь как будто начинается заново...

— Ты чудная, — говорит он тихо.

— Что ты сказал? А ну, повтори.

— Я сказал, что ты чудная.

— Не чудная, а чудная. Ну-ка, скажи — «чудная».

— Чудная.

— Молодец. Хороший мальчик, иди ко мне, я дам тебе пальчик, ты мне его поцелуешь.

— Не пойду.

— Почему?

— Потому что я опьянел. Я уже за себя не отвечаю.

— Как это? Все время отвечал, а теперь — не можешь. Или не хочешь?

— У меня терпение на пределе. Что я, чурбан?

— Ты же говорил, что ко мне серьезно относишься.

— Причем здесь это?

— Ха-ха. Тоже мне, мужчина. Это ты яблоч райских объелся, вот и петушишься.

— Дело не в яблоках, а в тебе самой...

— Во мне?

— В тебе.

— Не прикидывайся, пожалуйста. Какой же ты мужик? Какой же ты рыцарь, если не можешь терпеть?

Он делает шаг вперед. Она видит его глаза.

— Только дотронься до меня, потом всю жизнь будешь жалеть.

— Плевать!

— Да ты только грозишься...

Сергей резко встает и в два прыжка оказывается рядом с ней. Он стоит перед Людмилой обнаженный, слегка покачиваясь и уже не стесняясь своей наготы.

Она окидывает его взглядом.

— Ты что это, а? Я же предупреждала — чтоб я этого не...

В этот момент он падает на нее сверху, будто подкошенный. Придавливает ее к земле и пытается раздвинуть ее ноги.

Она вскрикивает, потом вдруг начинает пронзительно верещать. Этот крик похож на вопли терзаемого беркутом зверька.

Наконец, крик ее превращается в членораздельную речь:

— Гаденыш! Подонок! Ублюдок, недоносок! Мне больно -о-о!..

Она, до этого такая ладная, самоуверенная, сильная, в один миг превращается в свою противоположность. Обессиленно выдыхает из себя остатки воздуха. Сопротивление ее слабеет, ноги раздвигаются в стороны.

В этот миг из его груди вырывается нечеловеческий, утробный рык. Он обессиленно накрывает ее своим телом. Минуту лежит, потом откатывается в сторону, тычется лицом в траву и замирает.

Она дышит часто, прерывисто, со стоном. Присутствие духа, наконец, возвращается к ней: она садится, проводит рукой по животу и подносит ладонь к глазам.

— Ты что наделал, мерзавец? Мне же туда попало!.. Здесь даже помыться как следует нельзя! За что? Что я тебе сделала? Ты мне всю жизнь исковеркал! Чтоб ты сдох, паскуда! Ненавижу тебя!..

Она бешено трет свое тело ладонями. Потом заваливается набок — и плачет. Плачет горько и безутешно. Плечи ее вздрагивают, тело бьет озноб.

Он лежит, прикусив зубами пучок травы. Потом резко встает, подходит к ней, встает на колени:

— Перестань, слышишь? Ну, если хочешь — я признаюсь, что пытался тебя изнасиловать? Хочешь — я умру сейчас, если ты только скажешь. Хочешь? Скажи! Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?

— Нужен ты мне бо-о-ольно!.. — воет она. — Что мне теперь делать? Как мне отмы-ыть все, как мне все это твое выскрести? Как мне теперь жить?

Вдруг он наклоняется и что-то шепчет ей, касаясь губами мочки ее уха.

Она поднимается на локте и слушает. В этот момент она похожа на подранка, который после первой боли и испуга вдруг осознает, что у него еще есть шанс на жизнь.

— Что-о-о? — прерывистым, слабым голосом спрашивает она.

Он шепчет еще раз.

— Да-а-а? — удивляется она. — А как это может быть?

Он пожимает плечами.

— Может... врач сказал, что может.

Он выглядит растерянным.

— Это точно? Ты мне потом покажешь эту бумагу?

— Если хочешь — даже сегодня, вот вернемся только в деревню...

Она недоверчиво улыбается. Ее испуг прошел.

— Принеси мне воды из реки, только почище, — говорит она капризным голосом.

— Я — мухой!

Он приносит воду в бутылке из-под шампанского. Она уже оделась, причесалась и подкрасила губы.

— Отвернись, — говорит она.

Он отворачивается.

— Повернись.

Он поворачивается.

Она смотрит на него, не мигая. В ее глазах, где-то глубоко-глубоко на дне темно-зеленой бездны, искрится звездочка. И вот уже они вновь лучатся и сверкают.

— Ты правду мне сказал?

— Ага.

Она на секунду задумывается.

— Ты даже не представляешь, что я пережила. Что это с тобой произошло? Это был не ты, не тот мальчик, которого я знала всю эту неделю. Я думал а, что я тебя уже знаю очень хорошо. А ты вдруг превратился в зверя, в монстра, в чудовище. Ну, ладно, что было, то было, забудем. Но за свой проступок ты все равно будешь наказан.

— Ага.

— Ты все еще серьезно ко мне относишься? Тогда я устрою тебе новое и испытание. И не спорь, а то я обижусь. Завтра, ближе к ночи, ты должен будешь пройти по деревне, из конца в конец, абсолютно голым. Прямо по центральной улице. Понял?

— Чего-о?

— Я сказала: го-лым! А я буду идти тебе навстречу... тоже голенькая... И не смей со мной спорить! И опять у тебя этот бугор появился... что это такое, в самом деле, а?.. У -у-у!..

Она поднимает свой маленький кулачок и грозит ему. Ее полные, искусанные до крови губы опять сворачиваются в трубочку.

Рядом с ними, в нескольких шагах, сверкающие рыбешки снова и снова выбрасываются на бетонную поверхность водослива, изнемогая в безуспешных попытках добраться до верхнего бьефа.

А за три километра отсюда в реку Карасевку падают с бульканьем красные яблоки...



Виктор Земляной

Хрусталик

записки потихоньку спятившего

I

В кабинет я входил последним — в одеждах от Секонд Хенд и лицом... ну, не австралопитека, но без возраста и выражения, это уж точно. Поскольку меня никто не приглашал, я вошел и почти притаился у порога.

Медсестра, некрасивая и длинная, как жердь, заслоняла врача своими сумками, отпрашивалась домой. На мое приветствие эскулапы не отозвались. Впрочем, вскоре девица не без проблем ушла -таки. Не ушла, а выпорхнула.

Врач оказался врачихой. Не успела она окинуть меня бок овым взглядом, как я уже сидел рядом с ней, на предназначенном стуле. Быстрый, как террорист. Но это не наглость, а просто привычка опережать. Чтобы не испугать эскулапиху окончательно, я низко опустил голову. Да, больные так не входят, думал я, так входят т е...хотя брать здесь, честно говоря, нечего.

Ее руки сердито резали пространство над столом, ныряли в бумаги, задевали предметы. Все это очень напоминало поиски оружия. Чтобы успокоиться, она начала что -то писать. Это длилось долго.

После третьей минуты я решился на иную роль: терзающегося от нетерпения неврастеника. Выглядело это нарочито до шутовства, но мне надо было найти повод для примирения.

Виктор Дмитриевич Земляной родился в 1935 году в Днепропетровске. Окончив среднюю школу и изостудию при дворце пионеров, поступил на отделение живописи Днепропетровского художественного училища, которое окончил в 1958 году. Работал в средней школе учителем рисования и черчения, в 1967 году окончил факультет прикладного искусства Московского текстильного института. После окончания вуза работал художником по ткани на комбинате плащевых тканей в г. Балашове Саратовской области.

В 1983 году переехал в Ярославль. Работал дизайнером на радиозаводе, преподавал художественные дисциплины в Ярославском политехническом институте. С 1995 года - пенсионер.

Первые юморески опубликовал в 60-х годах прошлого столетия в вузовских многотиражках. В эти же годы сотрудничал с газетой «Московский комсомолец», посещал занятия литературного кружка при этой газете. В 80-х годах публиковал юмористические рассказы в ярославской областной прессе.

Живет в Ярославле.

— Глаза... — произнес я нелепым тоном.

— А у нас только глаза, — мгновенно отфутболила она. — Сексолог в правом крыле, по понедельникам.

Я задушевно помолчал. То, что свои понедельники она проводит именно там, было очевидно. Пока длилась пауза, я вспомнил, что в свое время наше поколение буквально молилось на этих загадочных людей. Спасители. Люди в белых халатах.

Молча посадила меня за оптику. Некоторое время вертела в руках мою голову, словно муляж. Потом отшвырнула в сторону — ни дать ни взять, злая мачеха из советских фильмов для детей. Поднялась и ушла за ширму. Мое желание поговорить о моем хрусталике куда-то делось.

Вдруг она вошла — уже игривая, с блеском в глазах.. Не глядя на меня, негромко запела: «Ен лу лус дэ ту ми радэ, если ты в глаза мне глянешь». Я знал эту старую песню из трофейного фильма, и с места в карьер продолжил: «Зи тэ миро, зи суспирэс, и привольно мне и сладко».

И тут она впервые улыбнулась.

Но тут же опомнилась:

— Таких операций мы не делаем!

«Уже не делаете, или еще не делаете?» — хотелось спросить мне. Но я боялся разозлить ее. Нет, роль доброго идиота надо играть до конца. Мне нужен хрустал ик — и немедленно. А то еще, того гляди, и хрусталики кончатся. И Федорова уже в живых нет...

— А кому же вы делаете?

Грамотное поведение возымело действие.

— Идите сюда. Ближе, ближе. Садитесь...

Было похоже на то, что она начнет резать-потрошить прямо сейчас — и не важно, какую именно часть моего организма. Она коснулась моих надбровных дуг теплыми пальчиками.

Аналитика и критический ум отказывались от меня. Я мигом успокоился и опьянел. Лицо ее показалось мне молодым. Нос прямой, брови на взлете. Пульсир овали губы — рельефные, как две спарившиеся пиявки.

— Вам приятно?

— Да, — сказал я.

— Закройте глаза!

Я закрыл.

— Сейчас вам будет трудно открывать глаза.

«Она ведь красива», — замелькало в моих извилинах.

— Открывайте!

Я открыл.

— Трудно?

— Да!

— Мы оперируем тех, кто видит верхние шэ и бэ. Вот таблица!

Никакой таблицы я не видел. В голове продолжало мелькать. Ах, вот она, эта таблица — передо мной. Но где же эти проклятые шэ и бэ?

— Видите?

— Нет, не вижу!

— Люди видят, а вы нет, — сказала она чуть громче обычного.

Мое желание вставить искусственный хрусталик на глазах нарастало. Я видел четко только нижние семь рядов.

— Я мог бы на платной основе... — наконец, нашелся я.

— Это уже другое дело! — расцвела она, мгновенно преобразившись. На лице ее появилось торжествующее выражение, словно речь у нас пошла о чем-то долгожданном, типа интима. Резкость исчезла, уступив место мягкости и женственности, голос стал грудным. Наверно, в молодости была заманчивой, чертовка.

— У меня, — продолжала она, — есть интересная женщина и, главное, к ней без очереди...

Я медленно соображал, зачем я сюда пришел и что, собственно, мне от нее надо.

— У нее еще есть хобби, — говорила эскулапиха вкрадчивым голо сом, — она любит таких кроликов...

Гипнотическая пелена не рассеивалась. Мой мозг, поднаторевший в создании ассоциативных рядов, упрямо рождал рекламных кроликов, прыгающих по телеэкрану. При чем тут кролики, — думал я тупо, — сейчас же год лошади. Лошади во сне — к болезням...

— ...и вы знаете, в детстве она своими глазами и видела Александру Коллонтай — ту самую, что в кроличьей шубке...

Художник Ван Гог, — думал я, — тоже однажды, как и я, доверился врачу, психиатру — и даже передал ему на хранение свои картины. В итоге тот заставил этими картинами весь свой крольчатник...

— Ну, так вы согласны? — чуть громче спросила она.

Пелена рассеивалась, но вяло.

— Да, или нет?

В детстве меня учили, что женщинам неприлично отказывать. И я ответил утвердительно.

Вскочив, она схватила меня за рукав и молча куда-то повлекла — так в Одессе на рынке ведут к товару сомневающегося покупателя.

«Кабинет лазеров». Здесь мне мигом замерили диаметры моих зрачков, любезно приняли деньги и назвали номер палаты.

II

В палате я подремывал, воображая себя то зачумленным петушком, не решающимся переступить меловой круг, то чукчей в чуме. В полночь дверь приоткрылась и некто женского пола, весь в белом, известил, как выстрелил:

— Операция — завтра!

Звонкие каблучки уцокали по коридору, медленно затихая в моих висках. Сон словно рукой сняло — страхи, прокравшиеся в меня, как вирусы, мгновенно расправились с ним. Что, если они начнут теперь, подгоняемые темнотой и храпом мне подобных, нарастать до ужасов? Что, если призрачное мельтешение, к которому мои глаза почти привыкли, превратится в жуткую рябь? Что я буду делать тогда?

Вот все заявляют: врачам нужно доверять. Но что это такое — все? Нет ведь ничего более сомнительного, чем то, что кажется очевидным. Если бы врачи не умирали, им доверяли бы куда больше. Из операционной можно вернуться улыбчивым героем, а можно и одноглазой камбалой.

Впрочем, эти сомнения я уже озвучил моей эскулапихе перед расставанием — и немедля нарвался на мощный отпор. «Можно ли довериться Аделаиде Феокистовне? Да она богиня хирургии! Она двадцать четыре часа в сутки пашет! Во время дефолта, когда больные к нам со своими простынями ходили, у нас скальпелей в больнице не было — так она лезвиями «Нева» работала! Она по ночам в хосписах дежурит!..вы хоть знаете, что такое хоспис?!...»

Да, все понятно, такую не запугаешь...и, опять же — ну, что такое два глаза? Два глаза, три глаза...Иметь два глаза — это роскошь, это портит людей. Так прямохождение порождает хондрозы. Шахтеры, к примеру, хондрозами не страдают. А Гомер и Кутузов, люди неглупые, утверждали в один голос, что зрение дает только чувственную, а не мыслительную информацию. Эти двуглазые, как дети, радуются всяким глупостям — первому снегу, сияющей зелени...объемное зрение позволяет этой подлой породе

испытывать наслаждение от жизни. Чувственное восприятие возбуждает в их мозгах зону удовольствия — а в результате организм двуглазого погрязает в лени, в праздности.

Определенно, два глаза мешают развитию мыслительных способностей индивидуума. Ведь палитра чувственных восприятий скудна — все, что двуглазый не может понять, он относит к сфере враждебного. Двуглазый не может отличить «Чижика -пыжика» от трамвайного звонка, путает любовь с инстинктом, Гегеля с Гоголем...

Пойду на операцию! Надо только попросить сиделку проследить, чтобы меня не сунули, как одного тут местного мужичка, в женскую палату на всю ночь. Все, говорят, так смеялись, что швы у большинства разошлись.

А что касается удачи, то...квантум сатис, как говорят медики. В переводе с латыни это значит: сколько схватишь.

III

Гутен морген, сказал я сам себе. Холодно, однако, на этом столе. Как в морге. Отчего это, интересно, мне лезут в голову самые дешевые сравнения?

Героическая Аделаида, естественно, задерживается...и никого из местных обитателей не спросишь, почему. Им, конечно, не страшно...а с другой стороны: почему мне не сиделось дома? Как это там поется в опере «Запорожец за Дунаем»: «А дома чом нэ ночував?»

Чом, чом...а что, откровенно говоря, страшного даже и в этом самом морге? Вот одного моего знакомого однажды нашли в глубоком алкогольном отрубе далеко за городом. На улице — морозище. Некий сердобольный мушкетер затащил бедолагу в первый попавшийся домик. Домик как домик, без окон, правда, но зато с крышей. Не жарко, но и не минус тридцать. Проспался мой знакомый и, дрожа от пяток до зубов, добрался первым транспортом домой. Ключи на месте, открыл, встал на пороге — никто не подходит, никто ничего странного не унюхивает. Супруга с кухни кричит: «Ты почему дома не ночевал? Я все морги обзвонила!..» А он скорее в ванну, включает горячую воду — и мысль у него в голове только одна: значит, не все...а собственно, зачем мне ее в детали посвящать? Пусть себе думает о проклятой полигамной сущности мужчин...

За этими размышлениями и застала меня Аделаида Феокистовна.

— Доброе утро, деточка! — поприветствовала она меня таким нежно-вазелиновым голосом, что на мгновение я и впрямь перепрыгнул из своих семидесяти лет в далекие семь. — Вай-вай, что это у нас за брежневские брови!»

Хорошо еще, что не сталинские усы, подумал я. А вслух сказал:

— А все остальное как?

— Всего остального я давно не видела, — сказала она сытым голосом.

Ассистентов на горизонте не появлялось. Хирургическая богиня молча сделала мне укол-заморозку. Я тоже молчал, напрягшись — и она, словно прочитав мою мысленную реплику, решила рассказать анекдот. Оказывается, игравший роль Сталина артист Дикой после смерти вождя рвал на себе волосы.

— Так переживал?

— Нет, чтобы быть похожим на Хрущева.

Потом она что-то у меня разрежала. Потом шепотом сказала, что медсестра Марина не подготовила меня к операции.

— Пора увольнять? — меланхолически спросил я. Мне уже было все равно, я расслабился.

— Увольнять... — хмыкнула Аделаида. — А где новых взять...на такую-то зарплату?

Я уже плохо понимал, о чем она — но все же уразумел, что ее тревожили прежде всего не мои брови, а то, что Марина машинально дала мне, как всем, таблетку, понижающую глазное давление. Лежу, понимаете ли, с разрезанным глазом, а у меня нулевое глазное

давление. Еще я уразумел, что это не есть хорошо...а когда пришел в себя, то услышал монолог хирургической богини, чем-то смахивающий на диалог.

— Ты чего не входишь? — говорила Аделаида, копаясь у меня в глазу. — Я его туда, а он обратно...

Голос у нее при этом был подавленный.

Несмотря на полное отсутствие медицинских познаний, я сразу же смекнул, в чем дело: хрусталик не вставал на место. Но поддаваться панике было поздно.

— У меня есть еще запасной глаз, — сказал я успокаивающим тоном.

Капля пота с ее лица упала мне на щеку.

— Да, — сказала она задумчиво, — тут позавидуешь дантистам...Нет, все-таки брошу я эту хе-рур-гию!..

Мне стало жаль богиню. Тем более, что ассистентами в палате так и не пахло.

— Самое главное — не бросайте это грязное дело прямо сейчас, — сказал я. — Если можно, сделайте это чуть позже...и вообще я вас люблю.

— Спасибо, вы меня вернули, — сказала она. — Меня здесь, если вы не знаете, считают неплохим хирургом.

Потом наступило загадочное затишье. Как я узнал позже, именно в этот момент она разрешила мне роговицу и внедрила хрусталик.

А потом надо мной раздался еще один голос — голос обворожительной сирены, тоже одетой в белое. Она взглянула на мою богиню, потом на меня — и властным голосом повелела моей богине успокоиться.

— Я это зашью послезавтра! — добавила она.

IV

Когда мне разрешили, наконец, выходить в коридор, я взял моду сиротливо сидеть в углу на стуле, рядом со столовой. Со стороны я, наверное, был очень похож на одинокое скифское изваяние. В молодости, помню, меня удивляли старики — те, что величественно сидели на лавочках с вытянутыми голыми шеями. О чем они так долго молчат? — спрашивал я себя. Только теперь я понял: они прислушивались на прощанье к гармонии окружающего мира.

Задолго до начала процедур в столовую сходились женщины из всех палат, заполняя собою все помещение. В те минуты, когда гнетущее облачко кружило над моей душой, они казались мне одним огромным, уродливым существом, состоящим из бинтов и повязок. Но когда облачко рассеивалось и наступало облегчение, я различал их порознь — только что заболевших, еще больных, уже выздоравливающих...о женщины! — говорил я про себя, улыбочиво глядя на них. Сколько пылких признаний оледенело в кладовых вашей памяти, скольких схваток за самку вы были причиной! Теперь ваш час — оживайте, говорите!

И они говорили, нет, щебетали, как птицы, перекликались сложными ритмами. Мелодика их разговора была схожа с древнеармянской, казалось мне. Впрочем, по армянски я знаю только два слова: барэв дзэс, добры й день.

Но как они сегодня милы! Эти их встречи в столовой, эти часы процедур уже превратились в потребность, в необходимость, в любовную страсть. Вчера, под конец процедур, они устроили тут натуральный театр: все мужики попрятались, только я сидел, как подснежник на весенней проталине, а они, эти прелестные, недоступные, щебечущие существа шлялись туда-сюда, задевая меня своими халатами и не извиняясь. Самая смелая вдруг подошла вплотную и, сославшись на полную слепоту, попросила довести ее до ординаторской. По дороге она несколько раз попросила крепче держать ее — так она, видите ли, лучше видит — а потом, резко остановившись, заговорила о родинках, раковых и не раковых. Потом без паузы показала мне родинку. Там, где ей хотелось.

На этом все и кончилось. Я вернулся на свой стул. Однако в тот вечер я впервые уснул без снотворного. И ничего у меня не болело!

А сегодня я отсел от них подальше. Впрочем, спрятаться от щебета было некуда — он летел, дробясь и звеня, во все углы и уголки коридора. На сей раз речь шла о Чубайсе, о том, что он красит голову зеленой краской.

Потом одна стала рассказывать о том, как ее любил последний муж — и взалхлеб смеяться. И вдруг реальность поменяла свои кадры. Что-то изменилось. Из глубины бинтов и повязок донеслось: ля-ля-ля-ля-соль-фа-фа-ми-ре. И еще раз. Потом пошли слова: «Не-ко-му-бе-рез-ку-за-ло-ма-ти!..»

На вид ей было до сорока. Ухоженная, красивая, но мимика и жесты делали ее похожей на древнеегипетскую плакальщицу. Она молча схватила со стола две ложки вме сто кастаньет и стала танцевать испанскую сегидилью. Ее, правда, тут же остановили: вредно глазам. Тогда она начала декламировать Гарсиа Лорку.

— Проблемы с психикой? — шепотом спросил я сидящую рядом.

— Не думаю, — откликнулась та. — Просто много лет жила, как в темнице, без мужской ласки. А теперь успешно сделали операцию, все видит — вот и бесится. Переклинило на радостях, дело известное.

— Ах, как он идет! — воскликнула древнеегипетская испанка, глядя в дальний угол коридора, где беззвучно мерцало телеоко. — Как идет! Левая — как у юного суворовца на параде! А правая — у бедра, где оружие, и придерживается рукой! Прямо Чапаев! Тот постоянно ударял себя по месту... — тут она несколько замялась, — по месту, куда делают инъекции...

— Мускулюс глятэус, — подсказала очень толстая женщина.

Все притихли. Испанка тоже села на стул. В ее огромных глазах показались хрустальные бусинки.

— А помните, как он на чистом немецком сказал: «Шиссен ин кло-зет»? — вылезла маленькая бабуля.

— Это не женская тема, — грозно заметила другая, с южным выговором.

— А я вот смотрю всегда «Что хочет женщина» — и ничего не понимаю, — призналась третья, по виду из Романово-Борисоглебска, ставшего при Совдепии Тутаевым.

— Че там понимать-то, — солидно пробасила еще одна, явно с Красног о Перекопа. По ней было видно, что она полностью готова к выписке. — Че понимать-то? Женщина должна блюсти основной инстинкт! Для твоего ума было бы профицитом в сознании...

Спор разворачивался вширь.

— Я всегда блюду все истин...инстин... — вставная челюсть мешала романовской четко выговаривать научные термины. — Почему это ты думаешь, что мне не достичь этого твоего профицита?

— И очень просто, — басила перкопская. — Вот вы, романовские, выращиваете лучшую в мире породу овец...и это хорошо! Но разве вы можете постичь «Критику чистого разума» Иммануила Ивановича Канта?

Все изумились — и в это время всех позвали на процедуры.

V

Как выяснилось, я пострадал лишь частично. Мне так и сказали, не глядя в глаза:

— А с твоим правым глазом она напортачила...

Есть на свете врачи, думал я, совсем ослепившие людей. И, тем не менее, никуда они не деваются, рук на рельсы не кладут, за Анной Карениной не бегут, задрав штаны. Но мою Аделаиду и впрямь, видать, заела совесть, думал я: после операции ко мне в палату не пришла, на прием не записала. Даже когда я сам пришел — не узнала.

«Консультаций не даем!» — говорит громко.

Но тут же наклонилась и прошептала:

— Третьи сутки не сплю. От операции отказалась. Выжди, не паникуй.

Я в это время как раз смотрел на ее обувь. На одной ее ноге болталась туфелька, на другой было что-то вроде калоши. Я сразу все понял: человек переживает. А что: для женщины в возрасте, явно проходившей по делу врачей, с гипертрофированным чувством профессиональной ответственности — это нормально. Наверно, то и дело впадает в зону цветковых галлюцинаций и слуховых угроз. Не зря вот и сейчас бумагами шуршит, глушит скрипучий голос совести. Ого!..уже ругаться по -латыни начала!..тедиум витте, щекинг какой-то, сине ира эт студио, номо новус...

Мечется, мечется, думал я спустя два дня. Не зря на ежедневные досмотры начала таскать. Наведет оптику — и смотрит, смотрит...впрочем, может быть, это новая форма лечебной деятельности? Нет, все-таки ее трясет, трясет. Так это днем — а что творится ночью? Чистый Фрейд! Только ткнется в подушку — а уж ее кто-то заманивает в океан и смотрит оттуда устрицей из раковины вещей. Сам в ластах, вертлявый и худой, амфибия глаза, как у противогАЗа. Когда щекочет — она хохочет, когда душит — мосты рушит... Просыпается, понятное дело, вся мокрая от пота. Сначала было принимала душ, смыть пот и океан вины, теперь и это не практикует, боится. Попьет себе чаю — и айда на досмотры.

Впрочем, на днях ее прорвало, обмолвилась. По Фрейду, обмолвка сами знаете, чт о значит. Не я, говорит, на него — а он на меня своим прямоугольным, как в море, зрачком осьминога смотрит — а в зрачке том упрек, горький упрек за давешнюю поспешность.

Ну, а дальше-то что, говорю я ей, как жить-то я буду, взвалив на свою душу еще и тяжесть вашей вины?

Шарахнулась. Закрылась в кабинете. Еще не врачи, но уже не студенты дали мне понять, что у всякой бестолковости должны быть свои границы. Мне что, я ушел.

Начала искать способ, как освободиться от этого кошмара. Сначала сказала н а планерке, что дальнейшее пребывание здесь одного больного чревато. Ее никто не понял, особенно молодые, только что одипломленные. Решили, что это что-то из области кишечно-полостной хирургии. А ей уже мерещилось мое исковое заявление. Она медленно заболела, химеры овладевали ее виноватым сознанием. Поэтому я под вечер пошел к ней сам, без вызова.

Посмотрела тускло. В нас обоих было что-то общее — болезненная возбужденность? готовность к худшему?

— Посмотрите на меня, — ласково, чтобы не обрушить ее в бездну Фрейда и Юнга, — сказал я. — Я что, по-вашему, похож на русского?

Она молчала, не смея возражать. Кто знает, что у меня на уме, брови и впрямь как у Брежнева, а в кармане, может, вилку из столовой держу.

— Нет, несколько не похож, — ответил я за нее. — Мой зрачок созрел задолго до янычар. Биноклей у нас тогда не было, а урусы теснили. Нужно было просматривать степь на двадцать-тридцать верст. Два столетия тренировок — и глаз преобразовался. Смотрите на мой глаз — он же скачет, как верблюд. Шэ и бэ — это совсем не буквы, это верблюды. Трехгорбый верблюд и беременная верблюдица. А капните в мой глаз белены (ну, атропина, по-вашему) — и он начнет видеть тираж клинской типографии...

Она посмотрела так, что я понял: если я сейчас назовусь посланник ом планеты Альфа Центавра — поверит.

Но я ошибался. Как выяснилось впоследствии, она решила, что во время операции повредила мне не только глаз, но и интеллект, что у меня начались путешествия в прошлое. Утром на планерке заявила коллегам, что я вошел в измененное состояние сознания. Ее опять никто не понял, все подумали: стареет Аделаида, вот и красноречие прорезалось. Тогда она перешла на рабоче-крестьянское арго: мол, наша сестра-хозяйка на днях отказалась поменять ему белье, хотя уже и пора. А он, мол, только сказал:

«Прадедущка Терентий такого не прощает». И тем же, мол, вечером, у нее вырезали кошелек с деньгами и ключами.

Все вздрогнули и на секунду врубилась.

— Он не своим голосом говорит, — развивала она, ободрившись, — он, как Винокур, слышит день и ночь голоса своих предков. Вот на днях слышал голос Нефер...то ли тити, то ли тети, чтой-то я не поняла.

Заведующая, однако, начала что-то понимать. Объявила планерку закрытой и ушла к больным. А в обеденный перерыв увела меня к себе в кабинет, там как раз новый аппарат поставили, вот, говорит, нам новый аппарат поставили, так известное суеверие требует, чтобы первым на аппарате мужчина был. Я, естественно, сел к аппарату, она взглянула мельком, все поняла — и отпустила восвояси.

На следующий день я к своей Аделаиде Феокистовне вновь пришел без вызова. Она было хохотать, а я за свое. Вот, говорю, в период Тюркского каганата мой далекий пращур Турсун-Заде-Амирулла-оглы из рода Ашина, здоровый мужчина, только сырое мясо ел, все тридцать четыре зуба целенькие, хоть сейчас на ВДНХ вези, — и такой-то олимпиец получил, понимаете, от Табгачского хана на охоте стрелой под правый глаз. Дело, конечно, уладили, виновник половчанками расплатился, но травма мне по генным путям передалась...

— Уймитесь, — сказала она. — Может, еще про зубы расскажете?

— Мои зубы мне не жмут, — подхватил я, — только вот клыки коза в детстве вышибла, а звали ту козу Айседорой Дункан, скакала так, что никаким шарфом не уймешь. А кстати, половчанкам этим метко стрелять из лука меш ала левая грудь, так они ее...

— Хватит! — заорала она. — У вас отслоение сетчатки. Операция — завтра.

VI

На операцию меня везли, как пана, но чувствовал я себя, как колхозник в метро.

Аделаида уже поджидала меня — сидела на стуле, как шахиня на троне, вся в отблесках софитов и мединструментария. Видимо, всю ночь готовилась, читала забытые конспекты. Отслойка сетчатки — это тебе не насморк.

А одипломленных соглядатаев было — что кукол на полках магазина.

Тут в ушах у меня пошли звоночки и все началось.

Сколько длилась операция, я не знаю, да и кто ж это скажет. Память включилась, когда санитары уже везли меня на каталке в родную палату. В кровать положили осторожно — так кладут забытые вещи из камеры хранения. Мало ли что, терроризм наступает по всему фронту...

Положили и ушли, насвистывая: «лежать спокойненько, как пульс покойника...» Оптимисты.

Ничего не ожидая, я не спал. У меня болела душа. По кошачьи мягко вошла няня.

— Вот вам кондоминимум для отправления малой нужды, — сказала она без эмоций.

Мои соседи по палате оживились. После недолгих препирательств все сошлись во мнении, что кондоминимумы — это такие маленькие презервативы, специально выпускаемые для тех, кому нельзя двигаться после операции. Нашпигованный анестезирующими, я пребывал в новом для меня состоянии. Сон не сон, предметы на глазах искажались. С небес неслышно спустились русалки, красивые и длинноволосые, начали, как по команде, ритмические танцы, с элементами заманивания к себе. Я пытался объяснить им, что двигаться мне нельзя, они не понимали и злились, постепенно меняя грациозность на бесстыжие изгибы. Приблизились, начали поочередно длинными нежными волосами задевать мою мужскую зону. Но нужного эффекта не достигли, не на того напали. Со злобы они похитили мой кондоминимум — и уплыли на небеса.

От испуга я проснулся, зашарил взглядом вокруг себя. Все стояло на своих местах, и я плавно вернулся в забытье.

Я бродил по библиотеке, рассматривал книги на длинных полках. Мелькала дата — 3004 год, мерцала эмблема — копьё на фоне полумесяца. Что бы это, однако, значило? Я читал названия книг: «Улусы урусов», «Тюрки», «Каганат». В висках пульсировало.

Открыв глаза, я увидел стоящую на моей тумбочке пиалу с виноградом.

— Кельменды! Чай чамес! Утринь опа. Рахмат. Болды. Нитс шпуль базар?

Подозревая самое худшее, я осторожно отодвинул повязку. Слава богу, глаз на месте — и видит. Зрение, правда, фасеточное, как у стрекозы, но контуры реальности просматриваются. Монголо-татары не прошли. Просто собраты по палате пьют чай с раскосым посетителем. Хотя, может быть, я уже в предпрошедшем будущем? Партицип цвай какой-нибудь, почему нет? Сумрачный германский гений все может...

Не замечая моего пробуждения, мой сосед объявил, что Шизокрылый Серафим довольно четко разговаривает во сне. Вот, значит, как они меня нарекли. Что ж, могло быть и хуже. «Ночью послушаем, вместо радио», — сказал другой.

Я медленно вспоминал, кто есть кто в моем ближайшем окружении и за что меня могли так наречь. Помнится, дня за три до операции, когда вечная тема власти и денег мне порядком поднадоела, я смог однажды выманить аудиторию на любимое поле, на тему альтруизма. Но развить успех мне не удалось, народ понял только антитезу «эгоизм - альтруизм», а потом и вовсе кто-то откопал, что если ребенок в два-три года не кричит «Мое!», его надо вести к психиатру. Сколько я ни доказывал, что у батюшек, монахов и прочих служителей культа термин «мое» в употреблении отсутствует, что в ходу у них термин «Божье», диспут я проиграл. Может быть, после этого и нарекли?

Ослабленный организм то и дело выпадал из настоящего. Не замедлил появиться В.И. Ленин. Слава Богу, он вел себя прилично, больших пальцев в подмышки не упирали. Спросил, правда:

— Плачете ли вы, когда перечитываете гоголевскую «Шинель»?

Я его сразу понял: он спрашивал о том, способно ли современное мне общество на элементарный нравственно-психологический поступок, на глубокое сочувствие и соучастие, на бескорыстие, на любовь.

Сосед-астматик зашелся кашлем, я подсказал ему, где лежит сальбутамол — и Ильич на время растворился в полумгле палаты. Я вновь подумал о своем новом имени. Раз уж меня называли Шизокрылым Серафимом, то я должен соответствовать имени, томиться духовной жаждой. А разве я не томлюсь?

Вновь появился Владимир Ильич. Он встал фертом, упер пальцы в подмышки и произнес монолог, который запомнился мне дословно.

«Эксгумация капитализма на русской почве принесет неисчислимые и непоправимые антигуманные последствия. Нация, перенесшая иго множества деспотических режимов, давно является уникальной, по своему адаптированной к несвойственному Западу укладу жизни, она не может позволить смотреть на себя упрощенно, глазами спортивного тренера. Наша история — не эпизод, наша многоликая нация — это непрочитанная книга. Одними только экономическими законами ее не объять; только поиск, сохранение и образование человеческого в человеке способны двинуть ее вперед. Капитализм вытравливает все это, тема заботы о человеке перестает даже ставиться в повестку дня. Но альтернатива капитализму есть! Жаль будет, если заговорят о ней слишком поздно — когда обнаружат и ужаснутся необратимым признакам неведомых болезней, когда взбесившаяся природа напомнит нам, как варварски мы относились к своей планете.

Капитализм — не продукт творчества. Все творческое — гуманно, бесконечно и таинственно».

Утром все побежали на меня жаловаться, что я им не давал спать. Врачи, наверняка подстрекаемые Аделаидой, вменили мне нарушение режима и, чтобы исключить подобные проявления в обозримом будущем, мгновенно перевели меня в другую

клинику. Здесь меня сразу же посетил аспирант, пишущий диссертацию на тему «Телевизопатологические признаки в офтальмологии». Здесь вообще много чего есть интересного. Здесь рядом юный Пирсмани из хлеба лепит неприличности.

Не ходите сюда, а то вам будут назойливо предлагать койки по сходной цене.

ПОЭЗИЯ



Надежда Папоркова

*Не смейтесь,
милые уста*

* * *

Дожди замкнули город на замок.
Бумажный замок наш давно размок.

Лишь руку протянуть — безмолвный крик
Замрет в груди. Рассыплется виденье.
Об этом забываю каждый день я,
Об этом вспоминаю каждый миг.

Как можно было тосковать в те дни,
Когда я знала, что тебя увижу?
Ушли мечты, но сердцу стало ближе
Не то, что горю моему сродни,

А то, что выше горя моего —
Веселый детский смех. И оттого

Ты не тревожся из-за этих строк,
Лишь в них так много слез. А в настоящем
Мое спасенье — утром морозящим
Смешить друзей, чтоб скрасить им ненастье,
И дом, и душу открывая настежь
В реальности, закрытой на замок...

Надежда Александровна Папоркова родилась в 1984 году в Рыбинске. Окончила гуманитарный класс Рыбинского многопрофильного лицея и музыкальную школу по классу аккордеона. В настоящее время — студентка пятого курса филологического факультета Ярославского Государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.

Стихи Н. Папорковой публиковались в областной периодике и коллективных сборниках, московских журналах «Предлог» и «Истоки», журнале «День и ночь». В 2001 году в Рыбинске увидела свет ее первая книга «Терновый сад». В 2004 году опубликовала в нашем журнале подборку стихотворений.

Участница 2-го Всероссийского совещания молодых писателей в Малеевке (2001 г.) и Второго форума молодых писателей в Липках (2002 г.)

Член Союза российских писателей с 2004 года.

Живет в Рыбинске.

© Надежда Папоркова, 2005.

* * *

Не ждет меня мой тихий город,
Осенним облаком укрыт.
И не со мной твой светлый голос
В тоске небесной говорит.

И все, что я люблю на свете,
К чему стремлюсь сквозь дикий мрак —
Лишь безвозвратной жизни ветер,
Лишь дальней музыки маяк.

* * *

Чужая душа. Из потемок изгнание.
Последнего месяца вечер двадцатый.
Любовь, а не жалость вселяешь в сердца ты.
А я не прошу и о жалости, знай же.

Быть может, и самая светлая нежность
Меня б не спасла от скитаний по свету.
За вечность вопроса спасибо ответу,
Спасибо потемкам — за их безнадежность,

За то, что себе не изменят потемки,
Не вспыхнут, а только отступят от снега,
Когда улетит с календарного неба
Земная судьба моя — листиком тонким,

Последней, уже долгожданной расплатой
С пустою стеной, где висит календарик,
Со жгучею болью, которую дарит
Последнего месяца вечер двадцатый...

* * *

Печальным ребенком в венке из цветов полевых
К тебе я пришла и тебе ни о чем не сказала.
И новые дни на серебряных крыльях своих
Тоску обо мне с твоего уносили вокзала.

Совсем унесли, или нет — я не знаю, увы.
А может быть, к счастью не знаю. Но писем печальных
Тебе не пишу. Лишь пригоршня осенней листвы
В ладонях моих воскрешает погибшие тайны.

Я скорбные листья целую, и нежность моя
Дыхание им возвращает в минуты заката.
Как будто печальный ребенок вернулся в края,
Где радость открылась ему — и ушла без возврата.

* * *

Душа — что музыка немая:
Среди избитых, чуждых тем
Скитается, не понимая,
Как быть, и быть ли, и зачем...

Повсюду радость и дыханье,
И никуда дороги нет —
Лишь тяжкий груз обиды ранней,
Лишь безутешной жизни свет.

* * *

«Я птица — не зверек и не дитя.
Зачем тебе играть со мной, шутя?

Оставь меня, веселый птицелов,
Я все равно твоих не знаю слов.

Тебе ж такие песни не нужны —
Они просты, напрасны и нежны.

Пожалуйста, верни меня в мой дом —
В листву над заболоченным прудом,

Где ждут меня на ветках соловьи,
Что помнят песни вольные мои.

Там шелест листьев, колыханье крыл...»
Он, не дослушав, клетку мне открыл —

И, лучезарной радости полна,
Я выпорхнула в небо из окна.

С тех пор не покидаю милый дом
В листве над заболоченным прудом.

Но почему-то на исходе дня
Так трудно бьется сердце у меня,

И думают беспечные друзья,
Что я пою...а это плачу я.

* * *

Напрасны сны, пусты слова.
И в памяти живет
Один лишь краткий миг родства
Двух несозвучных нот.

То миг потерян, даль чиста,
И в свете новых дней
Смеются милые уста
Над горестью моей.

Но если так пуста мечта,
Хранимая душой, —
Не смейтесь, милые уста,
Над горестью чужой.

* * *

Горние звезды и светлая горница,
Ивы, объятые сном...
Что же ты вновь, белокрылая горлица,
Плачешь всю ночь под окном?

Голос твой — отзвук безвестного Китежа,
Небо — твой верный приют.
Что ж на земле в моем сердце такие же
Странные песни живут?

Мне бы внимать тебе с вечным смирением
И не стоять на краю,
И не тревожить ни плачем, ни пением
Бедную землю мою.

Но, призываемы вечною силою,
Песни летят в небеса.
И неразлучны над пристанью милою
Наши с тобой голоса.

* * *

Прощалась тень своим безмолвным плачем
Со всей землей, чтоб умереть от света —
И ветер немостою был охвачен,
И остывала вечность без ответа.
Но не остынет вечность, тень воскреснет
И ветер совершит полет победный.
И только я с моей печальной песней
К тебе во сне приду, как призрак бедный...

* * *

Под зимним ветром ветка тонкой ивы
Склонилась до земли и, в полумгле,
Не плакала... Лишь с трепетом пугливым
Шептала что-то странное земле.

И показалось мне, что нет былого,
Которое я в сердце берегу,
И что весна — единственное слово,
Начертанное веткой на снегу...

* * *

Если счастье мое на крылах унесут журавли
В край, в котором, быть может, не будет меня никогда,
Если тихий закат обо всем сожалеет вдали,
И молчит обо всем, в бледном небе мерцающая звезда —
Все равно ничего ни роднее, ни горестней нет,
Чем земля, что от зла и страдания дышит едва.
И не стоит винить этот мир за непролитый свет,
За напрасное наше и вечное чувство родства...

* * *

Коль в числе моих предков действительно были цыгане —
Будет вольной душа, как бы ни было горько скитанье.
Если это лишь миф, и во всем ошибаться судьба мне, —
Можно, я обману тебя? Просто ладонь свою дай мне.

Я увижу скрещение тонко начертанных линий,
По которым, конечно, гадать никогда не умела —
И скажу: ты счастливый, но будешь намного счастливей,
Если встретишь судьбу — черноглазую девушку в белом.

А еще — что напрасно цыганкам ты не доверяешь,
Что напрасно смеешься и сердце мне ранишь упреком;
Если мимо судьбы ты пройдешь и любовь потеряешь —
Не узнаешь покоя ни в близком краю, ни в далеком.

Улыбнись же опять — я выдумывать дальше не стану,
Из ладони ладонь отпущу, словно птицу из клетки.
Табор в небо уходит. Лишь небо сердечную рану
Исцелит навсегда — это знали веселые предки.

* * *

Больного неба чистота
Внимает песням безответным,
И говорит со мной мечта,
Овеянная ветром светлым.

Но я хочу вернуться в мир,
К его соцветьям обреченным.
Мой тихий двор безлик и сир
В своем страданье изреченном:

«И то забудем мы навек,
Что нам родней всего на свете...»
Но не сомкнуть усталых век,
И о земле тоскует ветер.

* * *

Меж темных деревьев — прерывистый путь...
Куда он ведет — к неизбежности? к Богу?
О, если бы, если бы снова вернуть
И детскую радость, и сны, и тревогу.

Вернуть их тому, кто изведal тщету,
Кто больше от мира не ждет понимания,
Кто горько молчит и глядит в темноту,
И взор его все тяжелей и туманней.

Быть может, найдет он себя самого —
И сердце его исцелится от муки,
И музыка станет защитой его,
Во тьму простирая лучистые руки.

* * *

Их было много: шумных, как волна,
Иль тише трав, смиренных или гордых...
Так нота каждая звучит в аккордах —
Одна из всех, но все-таки одна.

Твою победу с болью признаю,
Странице исповедуюсь бумажной.
Твоя душа — Вселенная для каждой,
Что пленницей жила в твоём раю.

Одна из всех — я менее всего,
Быть может, значу для тебя. Так с миром
К тем отпусти меня, чьим душам сирым
Господень рай дороже твоего.

* * *

Тебе поведав детские мечты,
В словах твоих такие слышу ноты,
Как будто навестить больного ты
Пришел в судьбу мою: твои черты
Исполнены заботы.

О, не жалею о том, что решено.
Твои слова летят, отогревая
Все — наугад — сердца... И лишь одно
Опалено и ждать обречено
Спасенья, как трамвая.

Спасибо, друг. Я из твоих даров
Возьму лишь память — мне не нужно много.
Пока живет сложнейший из миров —
Жизнь, время, смерть — о, сколько докторов
Для одного больного...

* * *

Не рассказать, не заплакать о чем-то земном —
Просто уйти по тропинке в весеннюю рощу,
Просто назвать этот день самым радостным сном...
Просто, не правда ли? Что еще может быть проще!

Вечность назад выбегали тропинкой лесной
К девочке грустной березки такого же роста,
С ними был ветер, кудесник речной и ручной...
Так и запомнила: все невозможное — просто.

Боль — это взрослая память о детской любви,
Вечность назад убиенной, а нынче прощенной.
Смилуйся, Боже, и солнцу живому яви
Рощу ушедшую с музыкой невозвращенной.

Как же светился весь мир, когда были детьми
Ангелы праздничной рощи, шумя берестой.
Мудрый Господь, эту боль у меня отними!
Так и запомню в ответ: невозможно — простое.

* * *

Не обещает солнца даль седая,
Но мне светло на берегах страны,
Где Лермонтов, мелодий ожидая,
Внимал волне в сиянии луны.

В такую осень заживают раны,
В такую осень оживают сны.
И радостью, забытой слишком рано,
Звучат минуты светлой тишины.

Вновь к берегу бежит волна большая,
Не доверя думы никому,
И сердце плачет, тихо вопрошая,
За что Господь так милостив к нему.

ПОЭЗИЯ



Анастасия Вишневская *В моем шкафу живет один скелет*

ГОСТЕПРИИМНОЕ

Здравствуй, жизнь. Проходи. Ты к обеду как раз
И, смотрю, у кого-то опять удалась.
Не секрет? У соседа? Ну, что же, *bien sur*.
И у нас вроде бьен...А присмотришься — сюр.

В твой последний приход — уж не помню, когда —
Я заметила, как непрозрачна вода,
Как под хлоркой с фенолом ютятся едва
Одинокое О с беззащитным Н2.
А потом разглядела заводик с дымком
И — навстречу — частицы свинца с ветерком.
А потом я расслышала кашель отца...
«Это возраст» — смеялись частицы свинца.
А потом я увидела пьяных детей,
Одноногого голубя с ниткой в культе,
Синеглазую шлюху с разбитой губой,
На поляне в лесу — унитаз голубой,
Под мостом — два дивана и спящих на них...
А потом я увидела этих троих.

Нет, колец не снимали, рублей не трясли.
Просто дали по хारे и дальше пошли.

И в глазах зарябили бомжи и ножи,
И в косухах пажи,
И скота падежи,
Платежи, грабежи,
Кутежи, мятежи,
Типажи, миражи,
Тонны мата и грима...

Здравствуй, жизнь!
Проходи-ка ты...мимо.

Анастасия Олеговна Вишневская родилась в 1979 в г. Набережные Челны. Окончила гимназию, затем — факультет психологии и Ярославского Государственного университета им. П.Г.Демидова. С 2002 года работает в журналистике.

Пишет стихи с шести лет. Увлекается авторской песней и рок -музыкой. В Набережных Челнах и Ярославле записано три любительских альбома А.Вишневской в стиле б ард-рок. Первая публикация — в литературном альманахе «Аргамак» в Набережных Челнах. Затем стихи А.Вишневской печатались в литературном журнале «День и ночь», в интернет -журнале «Пролог». Лауреат Всероссийского юношеского фестиваля авторской песни в номинации «автор-исполнитель» (1996 г.) Участница третьего и четвертого формулов молодых писателей России в Липках (2003, 2004 гг.).

Живет в Ярославле.

© Анастасия Вишневская, 2005.

* * *

Немножко тепла...Ну, хоть самую малость...
Помилуйте, кто говорит о любви?
У вас, у меня, что бы нам ни казалось, —
Так, нервы шалят и гормоны в крови.

Не верите? Бросьте!
Смотрите, как просто:
Дрожание пальцев, пылание щек,
Все ве-ге-та-тив-но
И так примитивно,
Что стыдно признаться: меня к вам влечет.

Поэтому — брось. О любви ни полслова.
Телами на ты перейдем, наконец.
Немножко тепла...а к теплу мы готовы.
Но, Боже, храни нас от клятв и колец!

* * *

Как ни гляди печальными глазами,
Как ни тверди о страсти юных дев,
Не обвенчают нас с тобою христиане
И иудеи отвернутся, побледнеют.
Позеленеют мусульмане поголовно...
Куда ни кинь — везде анафема и стыд.
Но к черту церкви, если чувство безусловно!
А Бог и их, и нас за все простит.

ПРО СКЕЛЕТА

В моем шкафу живет один скелет...
Нет, их там много, но один — живучий.
Все прочие свалились тусклой кучей,
А этот бедокурит, оглоед.

Гремит костями, если гость приходит,
Сияет зубом, если я вхожу.
И с глазу на глазницу чушь городит
Такую, что и не перескажу.

Он трус, обжора и прелюбодей,
Он портит моей личности картину,
Но я с него сдуваю паутину
И защищаю от чужих людей.

Он моя муза, критик и ценитель,
Но главное, отметить вас прошу,
Что он — во мне — тот самый сочинитель,
Который пишет все, что я пишу.

ПАМЯТЬ

В 2005 году исполнилось 75 лет со дня рождения
рыбинского поэта Е.Н. Петрова.



Евгений Петров

Жаркое пламя

**ПОЭТ ПРИХОДИТ В БАНДУ
И ГОВОРIT: «ОТДАЙ!...»**

Впервые я увидел его в конце 80-х годов, когда ко мне в редакцию газеты «Юность» гуртом шли местные поэты, молодые и не очень. Переваливший за пятый десяток рыбинец Евгений Петров выделялся и запоминался сразу – какой-то особой внутренней основательностью, неторопливостью. Внешний облик его выдавал человека крепкого и независимого: крутые плечи, мощная лысая голова, оттопыренные уши... А стихи, не всегда ладно скроенные, были на удивление добрыми. Помнится, я подумал тогда: вот как бывает!.. за такой свирепой внешностью – и такой добряк.

Что-то мы тогда у него напечатали, что-то нет. Так бы и затерялся в памяти облик этого человека среди многих прочих, но услышанная много позже то ли байка, то ли быль заставила вспомнить Евгения Петрова. Быль-байка исходила из окружения тогдашнего законодателя рыбинской литературной моды Николая Якушева: якобы в самом начале 50-х, в голодные послевоенные годы, только что освободившийся из лагеря Николай Михайлович пришел в один из преступных притонов Рыбинска и попросил главаря банды, чтобы тот «вернул поэзии» молодого парня, ступившего незадолго до того на кривую дорожку – Женю Петрова. Бандиты уже считали Петрова своим, на нем уже висели какие-то долги и обязательства, но Якушев был столь убедителен, что главарь, подумав, согласился отпустить пишущего талантливые стихи парня «в поэты». Так одним бандитом на земле стало меньше, одним поэтом – больше.

На меня эта история произвела тогда сильное впечатление. Помнится, я долго собирался написать стихи об этом, чуть ли не уникальном, случае, что-то уже и рифмовалось потихоньку... но дело так и ограничилось одной с трочкой, которая до сих пор сидит в памяти:

Евгений Николаевич Петров родился в 1930 году в г. Кемерово, с 15 лет жил в Рыбинске. Окончив в 1947 году ремесленное училище, работал токарем на заводе дорожных машин, затем трактористом на Алтае, слесарем на рыбинской спичечной фабрике «Маяк».

Первые стихотворения опубликовал в 1958 году в заводской многотиражке. Публиковался в областной и республиканской прессе, коллективных сборниках. В 1983 году Верхне-Волжское книгоиздательство выпустило в свет его «книжку в книжке», давшую название всему сборнику – «Среди друзей».

Скончался в 1994 году. Похоронен в Рыбинске, на Старом кладбище.

Поэт приходит в банду
И говорит: «Отдай!..»

В этом году Евгению Николаевичу исполнилось бы 75 лет. Перечитывая сегодня его стихи, вижу, что первое мое впечатление было верным: простые, непритязательные строчки Петрова проникнуты тем, без чего жить на нашей грешной земле было бы совсем невозможно – искренностью и добротой.

Евгений ЧЕКАНОВ.

МЫ ЖИТЬ ОСТАНЕМСЯ В ЦВЕТАХ

Страничка моего дневника помечена 23-м января 1994 года.

«Умер поэт Евгений Петров. Сегодня похороны. Раньше умерла жена, остался один. Болел. Смерть подкралась как-то неожиданно. Соседи заметили: Евгений не выходит из квартиры. Стучали – никто не открывает. Взломали дверь...

...На похороны приехали сестра из Питера и сын от первого брака, Сергей. С отцом он не жил, но, судя по всему, был к нему привязан. От второй жены, Тони, детей у Евгения не было, но она, как видно, была самым близким ему человеком. Он очень переживал ее уход из жизни. Это и привело к обострению его болезни.

Были на поминках редактор «Рыбинских известий» Е. Куприянов, поэты С. Хомутов, А. Ситский, В. Кулаков, Ю. Никитин и родственники. Много говорили о нем как о поэте, о человеке. Все вдруг пришли к единодушному мнению: стихи -то хорошие!»

Я тоже тогда сидел за поминальным столом, говорил что-то...Вспоминал, как мы познакомились с Евгением. Это случилось еще в те годы, когда я жил в Пошехонье: мы вместе участвовали в областных поэтических семинарах, выступали со своими стихами. А в 1983 году нас с Петровым объединила еще и общая книжка «Среди друзей», вышедшая в Верхне-Волжском издательстве. Поскольку в книжке были стихи еще одного рыбинца, Володи Лазарева, остряки тут же придумали ей другое название: «Сообразили на троих». Может, и верно: мы были опьянены этим, пусть небольшим, но успехом. Ведь сколько лет все трое пробивались в печать!

Сборник заметили: были отклики, рецензии, в наш адрес приходили письма. В то время большую подборку стихов Евгения опубликовал московский журнал «Поэзия». Было чем гордиться! Правда, и после этого местные печатные издания не выделяли его из «общего потока», часто отвергали его сочинения. Но рук Петров не опускал, работал, не рассчитывая на гонорары.

Он часто приходил ко мне. Читал новые стихи, охотно выслушивал советы: ему всегда хотелось услышать «другое мнение». Подчас переделывал свои произведения чуть ли не заново, добиваясь большей выразительности. Поскольку пишущей машинки у него тогда не было, просил отпечатать стихи на моей. Отказа, конечно, не было, особенно часто помогал ему в этом мой сын Николай.

Заядлый грибник и рыболов, Петров любил побродить с корзинкой по окрестным лесам, посидеть с удочкой на речке. Русская природа входила в его стихи органично: он чувствовал боль подорожника, упрямо пробивающегося сквозь дорожную пыль, посылал душевный привет лесным ягодам, которыми лакомились детишки в годы лихого лета, в его стихах цвела черемуха, ворковали голуби, кричали грачи... Поэтому нет ни натяжки, ни подражания в строчках экспромта, записанного им в день моего юбилея на странице гостевого альбома:

Мы жить останемся в цветах...
Я в это верю почему-то.

Неброский, не вычурный цветок поэзии Петрова теряется в пестром разнотравье русской литературы. Но внимательный читатель, не в пример тем чинушам из редакций и издательств, что огульно порой отвергали творчество Евгения, различит его и полюбит.

...На тех поминках никак не выходил у меня из памяти один эпизод, которому мы все были свидетелями при погребении поэта. Копая сделали могилу не прямую, а с боковой нишей; опуская гроб, говорили: «В нору направляйте, в нору!» Гроб едва -едва вошел в узкую нишу. Даже и тут, на кладбище Евгению Петрову досталось место по урезанной норме...

Александр КОЧКИН.

ПАМЯТЬ

Забыл я прибрежные нивы,
над Волгою берег крутой.
А помню:
лохматые ивы
над темной склонились водой.
И хмурое, низкое небо,
огни деревень вдалеке...
Меня и сестренку,
без хлеба,
моторка везла по реке.
И, тесно прижавшись
друг к другу,
в глубокую полночь,
без сна,
мы слушали с горьким испугом,
как нас догоняла война.

То детство
за Рыбинским морем
я вижу, как будто сейчас:
стервятник
с пронзительным воем
пикирует прямо на нас.

* * *

От войны,
от пушечного грома
увезли нас
в тихий край степей.
Поселилась около детдома
пара сизокрылых голубей.
Радостно
ребятам было слышать,
как среди желанной тишины,
ворковали голуби на крыше,
будто бы и не было
войны.

И еще я помню:
чуть светало,
когда сторож,
выйдя из сеней,
из берданки грохнул –
и не стало
в маленьком поселке
голубей.
Вот и все...
Но стоит мне взглядеться
в этот край,
любимый и родной –
вылетают голуби
из детства,
кружатся подолгу
надо мной.

ЯГОДЫ

Была война.
И воедино
Сплелись и голод, и беда.
Не только жгучая крапива –
нас выручала лебеда.

Дела настолько были плохи,
что, – вспоминаю, как во сне, –
мои любимцы-кони
дохли
у нас в колхозе по весне.

Картошки не хватало на год...
Да что об этом вспоминать!
- Вот только бы дожить до ягод, –
нам повторяла часто мать.

В тот год
в июле было сухо.
И мы с сестренкой поутру
смотреть бежали,
что есть духу,
как зреют ягоды в бору.

И вот на вырубке, в низине,
они зардели там и тут.
Мы клали ягоды в корзины,
как драгоценности кладут.

И в этот день,
впервые за год,
мы шли счастливые селом...
Мы знали: дожили до ягод –

и до победы доживем!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Эту весть узнал я от соседа.
Громко, из раскрытого окна,
он кричал:
- Друзья мои, победа!
Наконец-то кончилась война!

А потом, в костюме самом лучшем,
сняв рывком двухстволку со стены,
в честь победы
громыкнул по тучам
однорукий инвалид войны.

И, в отцовском старом пиджачишке,
в коридоре,
прямо у корыт,
обнимала мать меня,
мальчишку,
и от счастья плакала навзрыд.

И безмерно радостный,
счастливый,
в этот день я слышал за бугром
не смертельных бомб
глухие взрывы,
а весенний,
мирный
первый гром.

НАДЕЖДА

Случилось,
заболел я на Чукотке,
домой вернулся
чуть не босиком.
Отец лечил меня
перцовой водкой,
а мать —
горячим козьим молоком.
При каждом вздохе
грудь от боли ныла.
Врач говорил:
- Неважные дела...
Жена ушла,
другого полюбила —
и за собою сына увела.

А ты пришла,
поправила подушку,
как к раненому в праведном бою.
И я с трудом
узнал в тебе Надюшку,
невесту очень давнюю мою.

Такая же веселая, как прежде,
лишь больше складок
стало у бровей, —
с годами повзрослевшая,
надежда
для всех моих тонувших якорей.

Как будто все, что было —
позабыла,
ночами у кровати не спала
и говорила,
как меня любила,
как долго,
непутевого,
ждала.

А я молчал,
бродяга и невежда,
я врал себе,
а ей не мог соврать...
И понял я:
покуда есть Надежда,
я не имею права умирать.

* * *

Горят сосновые поленья,
по ним клюкою колочу.
Забрать в свое стихотворенье
я пламя жаркое хочу.

Чтобы на море иль на суше,
где мало ласки и тепла,
моя строка согрела души
и чем-то людям помогла.

* * *

Простучит
оживительный дождик –
и увидишь:
с начала весны,
чуть приметный,
растет подорожник
по дорогам моей стороны.
И безжалостно,
многие годы,
начиная трудиться с утра,
молча топчут его
пешеходы,
давят бедный листок
трактора.
Засыхая под солнцем горячим,
задыхаясь
в дорожной пыли,
он, упрямый, растет...
И богаче
не искал и не ищет земли.



Игорь Кручинин

Белая лилия

Переславские зарисовки

УТРО НА ПЛЕЩЕЕВОМ ОЗЕРЕ

На рассвете, когда солнце еще за горизонтом, мы с приятелем отталкиваем плоскодонку от берега Трубежа и гребем к Плещееву озеру. Тихо. Только скрип уключин да редкий всплеск рыбы нарушают благодную тишину, столь дорогую для сердца каждого рыболова.

Деревья, окутанные туманом, почти касаются ветвями воды и еще спят. Река делает поворот, другой — и вот в лучах восходящего августовского солнца перед нами золотятся купола Сорокавятской церкви. Это уже устье. Берега Трубежа, как сотни лет назад, обрамлены сохнувшими рыбацкими сетями. Но вот и они остаются позади — и перед нами открывается озеро.

Не надо быть художником, чтобы почувствовать красоту природы. Но и не каждый художник возьмется перенести на полотно эту красоту, сотворенную из поразительной смеси умытого росой солнца, таинственной сини воды, далекого леса, плавающего в мареве утреннего тумана, древних стен и куполов монастырей и церквей...С детства знакомое нам, таинство это всякий раз воспринимается, как будто впервые увиденное.

Незаметно приближается западный берег. Вот и заповедное местечко Симак, куда мы держим свой путь. У берега — плотные заросли тростника, где прячутся дикие утки; на берегу — могучие сосны и ели, среди которых белеют домики детского оздоровительного лагеря «Чайка». Чистейший воздух пропитан запахом трав и хвои, но порой потянет и дымком: кой-где над прибрежным кустарником вьются дымки догорающих рыбацких костров. Вот и наше заветное рыбацкое местечко — бросаем якорь в двух сотнях метров от берега, на подводном обрыве, где глубина метра три.

Игорь Александрович Кручинин родился в 1931 году в Переславле-Залесском в семье учителя. Учился в физкультурном техникуме, служил в армии, заочно окончил географический факультет Ярославского педагогического института. Около 30 лет преподавал физкультуру, семнадцать лет работал директором средней школы и школы рабочей молодежи. Профессионально занимался футболом и баскетболом, участвовал в республиканских и всесоюзных соревнованиях.

Литературным творчеством увлекся в 1993 году, после ухода на пенсию. Сказки, новеллы, зарисовки, очерки И. Кручинина печатались в городской периодике, в коллективных сборниках и альманахах. Автор краеведческой книги «Переславские улицы».

Живет в Переславле-Залесском.

Бело-красные поплавки удочек слегка покачиваются на воде; рыбацкие сердца замирают. Солнце, между тем, дает о себе знать, кособоко ползет вверх. Наконец -то! Поплавок одной из удочек, весело подмигнув нам, скрывается под водой, мой приятель делает подсечку, леска натягивается... Вот она, кра савица плотвичка — переливаясь серебром, топорща красноватые плавники, трепыхается на крючке. Клев начинается!

То и дело оживают поплавки наших удочек — прыгают, скрываются в прозрачной воде. Вскоре на дне лодки уже лежит приличная добыча — с десяток крупных плотвиц, ерши, пара горбачей-окуней...

Но солнце печет все сильнее, рыба клюет все реже. Пора поднимать якорь.

На отмели прибрежный камыш стеной окружает нас, мы выходим из лодки прямо в прохладную, травянистую воду и волоком тащим наш у посудину к зарослям ивняка. На берегу тихо и уютно. Вскоре в тени кустов уже потрескивает костерок, а еще через десяток минут в закопченном и помятом котелке закипает фирменное блюдо рыболова — заправленная петрушкой и перцем уха из свежей рыбы. Естественно, дело не обходится без ста граммов. Не торопясь, прихлебываем мы с приятелем из котелка наваристый эликсир здоровья...есть ли на свете что вкуснее этого блюда? Спросите об этом рыбаков!

Между тем, гул ребячьих голосов на берегу становится слышнее . Вот уже и первые смельчаки бросаются неподалеку от нас в чистые воды озера. День по -настоящему вступает в свои права...

Спасибо тебе, Симак! Спасибо, Плещеево!

БЕЛАЯ ЛИЛИЯ

Военный, 1942 год, жаркий летний день. Изнывая от зноя, мы, переславские мальчишки с улицы Духовой, целыми днями пропадем на Черноречке. Купаемся, загораем, ныряем с барж, бегаем по плотам, бревна которых погружаются в воду под нашими ногами... Домой никому идти не хочется — там до вечернего чая ничем не разживешься, все съестное оприходовали еще утром. А голод не тетка, желудок требует пищи. И вот мы вытаскиваем на берег стебли тростника и грызем их — очищенная нижняя часть такого стебля бела и вкусна.

Еще одно лакомство — белые водяные лилии, вкус их лепестков своео бразен и нежен. Правда, добраться до них по илистому дну нелегко, а сорвать еще труднее. Эти цветы называют еще нимфеями и неньюфарами, хотя правильное название этого растения — белая кувшинка. Толстое корневище, лежащее на самом дне, крупные, глянцевиые листья, плавающие на поверхности воды, чисто -белые, удивительной красоты цветки с тонким ароматом. На Трубеже, на Плещеевом озере в районе Сталинской дачи их, помнится, росло немерено — и в те далекие, 60-летней давности времена они в какой-то степени помогали нам справляться с голодом.

В последние годы сама встреча с этим растением в наших местах стала редкостью — оно давно уже не попадалось мне не только на Трубеже, но и на Вексе, на озере. Дело в том, что белая кувшинка любит чистую воду, а у нас ее п практически не осталось. Впору вносить кувшинку в Красную книгу!

Желтая кувшинка, сестра белой, тоже красива — и в нашей местности пока не перевелась. Особенно много ее на Вексе. Но разве сравнишь желтую кувшинку с белой лилией. Далеко не родня!

Помню, как-то ночью мы с братом сачили с лодки плотву, подсвечивая себе смольем. Я обратил внимание, что у берегов вода была прямо -таки застлана листьями белой кувшинки — но почему-то не было видно ни одного цветка. А вчера их тут было множество. И куда подевались?

Холодная ночь кончалась, всходило солнце. Оно мгновенно озолотило воду и пригрело все вокруг. Мы с братом уже правили лодку к дому, но я обернулся — и остолбенел: десятки белоснежных чашечек лежали на воде!

Лишь позже я догадался, что цветки белой лилии — настоящий природный барометр. При устойчивой хорошей погоде, солнечной и сухой, они ведут себя обычно: всплывают и раскрываются рано утром, а вечером закрываются и прячутся под воду. А вот если наступают холода, лилия просто-напросто не показывается из воды. Лишь солнечные лучи способны заставить ее раскрыться.

Я все-таки лелею надежду, что где-нибудь в заповедном уголке еще раз встречу с белой лилией. Найду, буду любоваться ею и вспоминать былое.

СИЛА ЖИЗНИ

Я пришел на Валовую канаву, чтобы порыбачить — и стал искать свою удочку, которую спрятал, помнится, под большую сваленную осину еще прошлой осенью. Но тщетно. Прошел берегом за болотце, надеясь найти подходящий ивовый прут, который заменил бы прежнее удилище. Один прут оказался я в самый раз.

Я торопился, все делал на ходу. Но порыбачить так и не удалось, быстро смеркалось. Воткнул удилище в молодую осоку на краю болотины — и ушел.

Месяца через два вновь побывал на том же месте. И очень удивился, обнаружив, что моя удочка жива — даже выпустила несколько листочков по бокам и сверху.

На несколько лет я забыл об этом случае. Но через несколько лет, приехав к той самой болотине на велосипеде, увидел потрясшую меня картину: посреди осоки, как королева, стояла красавица-ивушка. Выжила в болоте! За что-то уцепилась корнями, притерпелась к холоду. И разлив не сдернул ее, не унес в озеро.

Я-то думал, что погубил иву, переделав на удочку. А она и не подумала умирать. Вот какова сила жизни.

СТАРАЯ ЗНАКОМАЯ

Давно я не встречал свою старую знакомую, Машу. Весь прошлый год она не показывалась мне на глаза. И вот вчера встретил -таки ее там, где и обычно.

Побродив по лесу, набрав грибов и орехов, я решил заглянуть на знакомое болотце за брусничкой. Вот и большая кочка, вся красная от ягод — они покрыли ее, словно ковром. Присев на корточки, я стал собирать ягоды пригоршнями и тут услышал где-то рядом тонкое шипение. Отдернул руку — и вовремя: всего в нескольких сантиметрах от того места, где только что была кисть моей руки, раскачивалась после боевого броска маленькая головка Маши, бабушки-гадюки. Она была явно недовольна, что промазала.

Отойдя на пару метров, я стал наблюдать за Машей. Да, точно, она. Постарела, располнела, но взгляд — ее.

Постепенно неприятное чувство, вызванное змеиным нападением, стало проходить. С чего это я выдумал, что она промазала? Змеи не промахиваются, если бы хотела — ужалила бы. Но почему-то она не сделала этого. Не предупреждение ли это было, не сигнал ли о какой-то грозящей мне опасности?

Я отошел подальше от прогретой солнцем кочки и вновь принялся брать ягоды. И тут увидел в гонобоблевых зарослях еще одну змею. И еще, и еще... Выпрямившись и взглядевшись повнимательнее, я насчитал поблизости штук пять Машиных товарок.

Нет, такого соседства мне не надо...Хоть и в резиновых сапогах я, а все же холодок по спине пробегает. Руки-то голые...

Я уходил с болотца, зная, что завтра непременно приду сюда еще раз. Любопытство не даст покоя: что же это за праздник был змеиный? Ведь раньше я тут встречал одну только Машу, а тут на тебе — чуть не стая.

Все-таки спасибо тебе, старая знакомая. Предупредила!

БАБОЧКА

Как-то у Рогозинина я отдыхал возле замшелого валуна, любовался голубовато - зелеными узорами мха и лишайника, растущих на поверхности камня. Вдруг часть узора на моих глазах ожила и, поднявшись в воздух, оказалась зеленовато -голубой бабочкой, до этого абсолютно не различимой на камне. Попорхав некоторое время возле пятен лишайника, которые, казалось, были вытканы ею, уплыла в сторону.

До сих пор помню свое чувство в тот момент, когда она отделилась от зелено -голубого узора и запорхала возле него: из меня, навстречу ей, вылетела вспышка радости и восхищения.